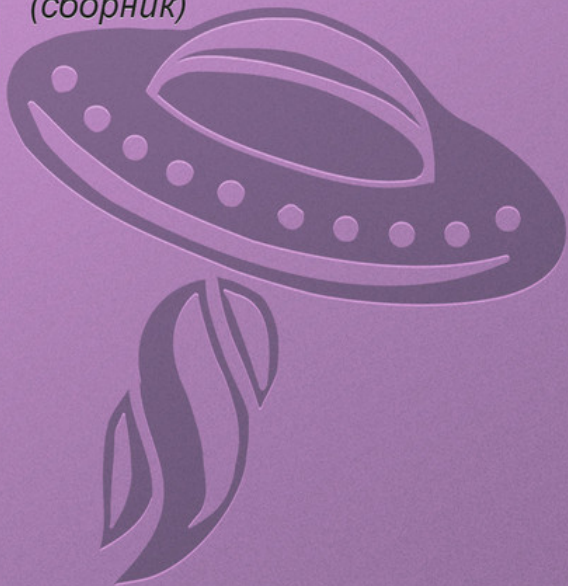


Сватоплук Чех

Новое эпохальное путешествие пана Броучека, на...



*Часть сборника
Назад в будущее. Истории
о путешествиях во времени
(сборник)*



Сватоплук Чех

Новое эпохальное

путешествие пана Броучека, на этот раз в XV столетие

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7361625

*Назад в будущее. Истории о путешествиях во времени: Издательство:
Художественная литература; Москва; 2015*

Аннотация

«Следует засвидетельствовать, что пан Броучек ничуть не возгордился, когда после его эпохального путешествия на Луну на него обрушилась слава. Сообщение о его потрясающих открытиях облетело всю страну, и имя Броучека было у всех на устах; несколько редакций (и партий) даже сцепились из-за него, причем каждая добивалась его расположения и подсовывала ему свои идеи. Но пан Броучек благоразумно и скромно помалкивал. Не заботясь о волнениях публики, он тихо продолжал взимать со своих жильцов квартирную плату и проводить вечера, как и прежде, в кругу старых знакомцев «У петуха» или в «Викарке», хотя в последней реже: к пану Вюрфелю он рисковал отправиться лишь в новолуние или в пасмурную погоду, когда небо сплошь затянуто тучами...»

Содержание

Предисловие (К первому изданию)	4
I	15
II	25
III	50
IV	65
V	74
VI	96
VII	117
VIII	156
IX	181
X	198
XI	208
XII	226
XIII	237
XIV	256

**Сватоплук Чех
Путешествия
пана Броучека
Новое эпохальное
путешествие пана
Броучека, на этот
раз в XV столетие**

Предисловие *(К первому изданию)*

Год назад написал я по просьбе пана Матея Броучека книгу о его удивительном путешествии на Луну, и поразительные открытия, в произведении моем содержащиеся, встретили в нашем народе горячий отклик. Однако сыскались меж критиками и малoverы; наперекор всем доказательствам, в конце книги приведенным, они делали вид, будто путешествие пана домовладельца на Луну считают обыкновенной писательской уловкой. Я не рискую спорить с этими скептиками, ибо они не перестанут сомневаться даже в том случае,

если пан Броучек свалится им с Луны прямо на голову.

Скептики сии увидели в моей книге лишь сатиру; но только одни утверждали, что она направлена против тех, кто живет лишь во имя своего материального благополучия и кому недоступны духовные идеалы, другие же, наоборот, считали, что ее острие обращено против тех, кто во имя чистой идеальности утрачивает реальную почву под ногами. Хороша сатира, к которой автору следовало бы сначала написать комментарий!

Исходя из занятой ими неверной позиции, эти критики выставили моей предполагаемой сатире некоторые упреки.

Одни упрекали ее в односторонности, мол, занимается она по большей части лишь делами литературными и вообще художественными. Как будто бы сатирик обязан каждый раз полностью прочесывать жизнь всего общества и не имеет права взять сегодня одну, а завтра другую ее сторону и посвятить ей хоть целую книжку! А ведь уже выбор места для путешествия пана Броучека – поэтического, призрачного лунного мира, с эфирными, росой и ароматами питающимися жителями, – мог бы подсказать читателю, что автор книги намерен трактовать в ней лишь тончайшие духовные материи общественного бытия, а не иные, более вещественные его аспекты. Для этих последних больше подошел бы как место действия Меркурий, объем которого в шестнадцать раз меньше земного и жители которого вполне могли бы выглядеть как мальчики-с-пальчики и девочки-дүй-

мовочки.

Иным критикам не понравилось слишком тривиальное обрамление сюжета сном. Ну, что касается сатиры, то рамка для нее дело второстепенное. Однако позвольте задать вопрос: если автору по каким-либо причинам нужно, чтобы его герой оказался на Луне, то как это осуществить? Или при помощи сна, или же посредством какого-нибудь фантастического, неправдоподобного аппарата, каковой Эдгар Аллан По нашел, кажется, в образе воздушного шара, из газет склеенного, а Жюль Верн – в образе гигантского полого ядра, выстреленного из пушки. Иные пути мне неизвестны, и автору остается только, воспользовавшись суверенным писательским правом, презреть все законы природы и попросту закинуть своего героя на Луну. Этот третий путь я и избрал как наиболее мудрый, принимая во внимание заезженность двух предыдущих. Именно этим путем, а вовсе не во сне попадает пан Броучек на Луну, как он сам ясно и подробно рассказывает в моей книге, и писатель никак не виноват, что иные критики больше верят пустой болтовне экономки пана Броучека и постового.

А еще один критик упрекнул меня в том, что я обидно выразился в адрес моравской критики. Право, не знаю где. Может, в том месте, где я говорю, что изуродованного Пегаса «видели даже в Моравии»? Но уже слово «даже» могло бы ему подсказать, что тот же самый Пегас скитался и по Чехии, а если этого мало, то я здесь дополнительно торжественней-

шим образом заявляю, что к чешской и моравской критике питаю совершенно одинаковое по глубине уважение.

Однако большее всего ранил меня своей рецензией критик одной провинциальной газеты. Ему попал в руки проспект, в котором издатель обещал покупателям «Путешествия на Луну» столько редкостных духовных лакомств, что у нашего критика потекли слюнки. Он ожидал целый фейерверк блестящих шуток, кровавую сатирическую рубку во всех сферах чешской жизни, сверкающий юмор и неотразимый комизм, от которых он будет прыгать в восторге, как некий испанский гидальго при чтении «Дон Кихота», – словом, кто знает, чего он еще ожидал? А тут на тебе! Вместо всего этого глоток жиденького лимонаду, горсточка убогого юмора и скудных шуток, при которых читатель улыбается лишь из милосердия, кучка туманной псевдосатиры на литературный мир, до которого никому нет дела, и на отношения в художественной среде, которые никому не интересны. Если бы автор при описании путешествия на Луну использовал хоть сколько-нибудь занимательно новейшие научные исследования – при этом критик обращает мое внимание на полный остроумия научный роман о Луне, вышедший из-под пера Жюль Верна, – то такое описание Луны в беллетристической форме дало бы читателю, помимо развлечения, какую-то пользу. Но даже на это не хватило у легкомысленного, поверхностного автора прилежания и таланта.

Стоит ли тут удивляться, что наш критик был полностью

разочарован «Путешествием на Луну» и что подобное же разочарование он наблюдал на лицах и других читателей, проживающих в тех же краях?

Против всего этого я могу лишь возразить, что трудно писать после Жюль Верна научные романы, что Сервантесом тоже не каждый стать может и, наконец, что я не отвечаю за слишком пылкие обещания и бойкий слог господина издателя, который сделал из меня в своем проспекте чуть ли не «нашего гениального поэта» или нечто в этом роде...

Защищаясь от нападков критиков, я нарочно занял их сомнительную позицию, будто я в самом деле написал лишь сатирическую небылицу. Большинство же моих читателей приняли «Путешествие» без всяких задних и побочных мыслей, и, по-видимому, форма повествования также их более или менее удовлетворила, ибо они и не ожидали от меня никаких ослепительных вспышек остроумия и стилистического блеска.

Вот им-то, воистину дорогим моим читателям, я и предлагаю песнь вторую моей «Броучкиады», отчет о новом, еще более достопримечательном путешествии нашего прославленного лунопроходца, которое многим будет тем желаннее, что на сей раз местом действия нам будут служить не заоблачные выси, но милая нашему сердцу родина, наш королевский город Прага, коей славнейший час истории, будто воскрешенный по слову могучего заклинателя духов, в полной силе встает из гробницы столетий и является пред очами

поздних потомков.

Однако разочарованное лицо провинциального рецензента и его соотечественников преследовало меня целый год во сне и наяву и даже сейчас вызывает во мне горькие укоры совести. Я боюсь, как бы кто-нибудь из этих господ, вопреки первому разочарованию, не приобрел мою новую книгу, а вместе с ней и новое разочарование, быть может, еще более чувствительное. У меня нет слов, чтобы сказать, как не люблю я обманным способом втираться в чужое доверие и как уязвлена моя душа упреком, что я кого-то обманул творением рук своих. Лучше уж, чтобы не читал меня никто!

Из опасений, что господин издатель может опять забросить в круг чешской публики удочку с какой-нибудь неотразимой приманкой, на которую мог бы пойматься кто-либо из тех, кому моя книга вовсе не адресована, я сам написал на сей раз проспект в форме, показавшейся мне наиболее целесообразной, а именно:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уже не единожды раздавались в нашем обществе укоризненные – и справедливо – голоса против недобросовестных издателей, которые шарлатанским способом всякий литературный мусор в велеречивых проспектах в качестве драгоценных шедевров до небес превозносят, чем не только публику сознательно вокруг носа обводят, но и самой литературе наносят ущерб, поскольку обманутая публика после этого от книг истинно ценных, вообще от словесности отече-

ственной с недовольством и недоброжелательством отвращается. Можно утверждать, что все какие ни на есть проспекты являются злом, ибо достойные книги у нас – как известно – и без такой назойливой рекламы находят потребителей предостаточно и даже чрезмерно.

В прошлом году имел место особенно вопиющий случай горлопанской рекламы: издатель Ф. Топич прямо-таки наводнил все земли короны Чешской иллюстрированными проспектами книги С. Чеха «Правдивое описание путешествия пана Броучека на Луну», в коих столь бесстыже расхваливал эту не имеющую цены халтуру, что многие попались на его удочку и затем жестоко поплатились за свое легковерие.

Хотя нашелся журнал, публично осудивший это бесстыдство, вышеупомянутый Ф. Топич и в этом году готовит подобное покушение на чешских читателей. По счастью, мы вовремя проведали о его замыслах и можем парализовать его действия данным предостережением.

Нам удалось заполучить сигнальные листы вышеупомянутой книги, коей демагогическое название «Новое эпохальное путешествие пана Броучека, на сей раз в XV столетие» уже само по себе наполнит отвращением всякого серьезного, рассудительного читателя.

А уж содержание! Это поистине наглый памфлет на наиславнейшую страницу нашей истории, на эпоху гуситскую, это лоскутное одеяло, пресная болтовня без складу и ла-

ду, без мысли и чувства, полная логических и фактических несуразностей и чудовищных анахронизмов, над которыми наши археологи и историки могут лишь в отчаянии заломить руки. Каждая страница свидетельствует о том, что автор лишь в последнюю минуту поверхностно ознакомился с каким-то трудом по истории гуситского движения, но в прочих отношениях является совершенным дилетантом по части археологии и истории и, уж конечно, не обладает ни малейшим пониманием духа чешской истории. Итак, тут и речи не может быть о поучительном чтении – скорее, можно говорить о сбивании с панталыку; но и о занимательности говорить не приходится, ибо это книга нудная, не увлекающая ни действием, ни описанием характеров, ни чем-либо еще; юмор, к которому несчастный автор местами себя понуждает, вызовет лишь сострадательную усмешку; сатира, на которую он, по-видимому, замахивался, совершенно невразумительна и вызывает желание высмеять лишенных чувства юмора литераторов, которые во что бы то ни стало хотят быть сатириками; слог крайне небрежный и пестрит на каждой странице грубыми погрешностями против духа языка чешского. Короче говоря, все это произведение являет собой ясное свидетельство того, что давно пора обуздать стареющего писателя, который в нечистоплотной погоне за гонорарами и фимиамом, воскуряемым ему беззастенчивыми подхалимами, пичкает чешскую читающую публику несъедобными плодами своей увядшей музыки.

И на этот раз книга Чеха «украшена» уродливыми загогулинами и мазней известного своей бездарностью и небрежной работой В. Оливы, впрочем, вполне достойными сей жалкой литературной стряпни. Нам удалось разжиться и несколькими образчиками этих рисунков, и мы можем приложить их в качестве иллюстрации для устрашения. И подумать только, сей плод убожества авторского и издательского, отталкивающий той же безвкусицей и убожеством оформления, что и «Броучек» прошлогодний, продается за бесстыдно взвинченную цену: 30 крейцеров за выпуск и 3,10 гульдена за все творение объемом 21 печатный лист и 114 иллюстраций!

Однако мы убеждены, что наше предупреждение достигнет своей цели и никто, никто потом и кровью заработанный крейцер на этот хлам не ассигнует.

Да будет единым лозунгом всей нашей читающей публики чешской:

Мы зарок себе дадим И на том всегда стоим, «Новое путешествие Броучека» Покупать мы не хотим.

А кому эта книга будет прислана для ознакомления, верни ее тотчас же издателю, для чего сообщаем и к позорному столбу пригвождаем полное название фирмы: «Ф. Топич, издательская и книготорговая фирма в Праге, Фердинандова ул., 8».

Само собой разумеется, что «Новое путешествие пана Броучека» не станут продавать ни в одном приличном книжном магазине».

Вот такое предупреждение было написано мною, но, поскольку я не очень уверен, что мой издатель не заменит его каким-нибудь хвалебным проспектом, я включил его в свое предисловие, чтобы оно попало в руки тех, кому предназначается, хотя бы с первым выпуском, который они безболезненно могут возвратить¹.

И все же я знаю, что те, кто питает доверие к пану Броучеку и лицам, пером и карандашом причастным к его путешествиям, невзирая на предупреждение, обзаведутся нашим новым эпохальным опусом. Я также убежден, что они снисходительно отнесутся к тому, что писатель моего калибра может им дать, и, в частности, не будут делать мне упреков по линии археологической: признаюсь откровенно, я в области старинного быта совершеннейший профан и никаких специальных трудов, готовясь к написанию книги, не изучал, – я просто описываю то, что пан Броучек своими глазами видел, своими ушами слышал, а это все-таки во сто крат ценнее, чем выписки всех археологов и историков из старых, заплесневелых рукописей, которые либо все врут, либо кем-

¹ К сожалению, во время написания сих строк я не имел еще полного представления о масштабах издательской хитрости; мое предисловие было присвокуплено к *последнему* выпуску!

то подброшены. Ежели в чем моя книга с современным уровнем развития науки расходится, пусть пан Томек et consortes в своих сочинениях поправят.

*В королевском Граде пражском,
в «Викарке», в день святого Томаша.
С. Ч.*

I

Следует засвидетельствовать, что пан Броучек ничуть не возгордился, когда после его эпохального путешествия на Луну на него обрушилась слава. Сообщение о его потрясающих открытиях облетело всю страну, и имя Броучека было у всех на устах; несколько редакций (и партий) даже сцепились из-за него, причем каждая добивалась его расположения и подсовывала ему свои идейки. Но пан Броучек благоразумно и скромно помалкивал. Не заботясь о волнениях публики, он тихо продолжал взимать со своих жильцов квартирную плату и проводить вечера, как и прежде, в кругу старых знакомцев «У петуха» или в «Викарке», хотя в последней реже: к пану Вюрфелю он рисковал отправиться лишь в новолуние или в пасмурную погоду, когда небо сплошь затянуто тучами.

Короче, пан домовладелец ни в чем не отступил от своего скромного образа жизни. Он не ходил по ресторанчикам, собирая дань восхищения со своих юных поклонников, а проходя по улице, делал вид, будто не замечает, что взоры всех обращены на него с тем же священным трепетом, с каким некогда взирал народ Италии на певца «Ада», пытаясь найти на его лице следы путешествия по преисподней. Не пожелал пан Броучек ни сфотографироваться со взглядом, вперенным вдаль, и описанием своего путешествия в руках, ни на-

писать для журналов и энциклопедий свою скромную автобиографию – с неизменным образом учителя, заронившего в нежную детскую душу семена добра и красоты, – ни подготовить про запас афористические сентенции для альбома, ни даже мимоходом намекнуть друзьям, что исполняется десять лет, как он стал бывать в «Викарке», – короче, он не усвоил ни одной из привычек знаменитых людей и даже как-то признался мне, что лавры он ценит лишь постольку, поскольку лавровый лист идет для приготовления тушеной баранины.

Я позволил себе столь подробно говорить о скромности пана Броучека, потому что у нас это свойство характера стало редкостью необычайной. Желание славы внезапно сделалось главной и всеобщей чертой нашего общества. Кто теперь печется о том, чтобы тихо и спокойно делать свое дело – в мастерской ли, на своем поле, на кафедре или за рабочим столом, испытывая удовлетворение при виде удачных, хотя и не слишком ярких плодов своего скромного труда? Этот старосветский тип людей постепенно вымирает. Нынешнее поколение единственно к чему стремится, так это к внешнему блеску и фанфарам славы. Причем славы самого различного толка. Учащийся пренебрегает учением и тянется к лаврам поэтическим; учитель полагает учительство занятием для себя второстепенным и мечтает стать сочинителем, если не редактором; адвокат поручает своих клиентов господе богу и ударяется в высокую политику; крестьянин за-

брасывает свое хозяйство и добивается выборной должности; ремесленник меняет свою табуретку на председательское кресло в каком-нибудь кружке или обществе и так далее, и тому подобное. Национальное достояние – как материальное, так и духовное – при таком направлении мыслей не очень-то возрастает, но зато у нас в Чехии развелось такое количество великих людей, что почти все наше время уходит на горячие овации, празднования пятилетних юбилеев, организацию торжественных банкетов и вечеров и подобные полезные дела.

Насколько глубоко проникла жажда славы во все поры нашей жизни, доказывают и бесчисленные словосочетания и обращения, существующие в нашем языке. Иные народы, приветствуя возгласами своих заслуженных или возлюбленных мужей, довольствуются пожеланием, чтобы они просто были живы (что, разумеется, не так уж много) или, как максимум, чтобы они были живы долго. Немцы кричат «hoch!»², что тоже весьма умеренное, если не сказать двусмысленное, пожелание. У нас же принято приветствовать каждого, коего вся заслуга состоит в том, что он дожил до своего пятидесятилетия, громоподобным криком «слава!». В иных странах наиболее уважаемым корпорациям присуждается, самое большее, звание «заслуженных» или «почетных» – у нас же каждая организация сочла бы личным оскорблением, если бы ей было отказано в эпитете «прославленная». «Про-

² «Высоко!» (нем.)

славленными» у нас являются каждый комитет, каждый клуб и кружок, каждая редакция, комиссия, артель, ну и конечно, каждое финансовое ведомство, если только не будет оно названо «достославным» или «всеславным». Короче, слава несется во все концы, и славу разбрасывают пригоршнями направо и налево, как если бы это была самая дешевая вещь в мире. Воистину непонятно мне, откуда у нас набралось столько славы, если взглянуть на нашу более чем скромную литературу, на нашу науку в пеленках, на трудности нашей промышленности и торговли, на наше обремененное долгами сельское хозяйство и наше политическое положение, о котором лучше вообще ничего не говорить.

Простите мне мои занудные рассуждения, на которые навела меня беспримерная скромность моего героя. Многие, не бывавшие даже в Крчи³, не то что на Луне, при встрече со знакомыми похваляются своим бесценным опытом. Верно и вы знаете такого человека, который раз в жизни побывал за границей, например в Дрездене. В каком бы обществе он ни очутился, непременно все должны выслушать несколько слов о его путешествии. Стоит вам, скажем, заговорить о горгонцольском сыре, как он сразу же начинает: «Всякий раз, когда при мне заходит речь о горгонцольском сыре, господа, мне приходит на ум дрезденская Сикстинская мадонна, стоя перед которой я познакомился и подружился с одним старым чудаковатым итальянцем, который...» и так да-

³ Крчь – предместье Праги.

лее, и тому подобное. Короче, о чем бы вы ни говорили, дрезденский путешественник ловко или неловко сумеет приплести к этому свой Дрезден.

Но пан Броучек вовсе не таков. Он очень неохотно касался лунной темы, и разговор в трактире вращался, как и прежде, вокруг дел и событий вполне земных. Единственно, от чего он, верный своему лунному обету, воздерживался, так это от неприязненной критики городских и государственных проблем; по той же причине избегал он и перчаточника Клапзубу, считая его вредным злопыхателем. Но одно событие серьезно поколебало его образцовый оптимизм: это были новые законы о принудительном выселении и переселении квартиросъемщиков, столь чувствительно затронувшие права несчастных домовладельцев, сделав их полностью безоружными перед лицом бессовестных жильцов.

И хотя порой мурашки пробегали по спине пана Броучека при мысли об ужасах «железной девы» и средневековой инквизиции, живописуемых в одной из книг его тощей библиотеки, несправедливое это постановление иной раз пробуждало в его душе тоску по старым добрым временам. Он сожалел, что фальшивый гуманизм отнял у кредитора возможность отправить бессовестного должника в общество жаб и крыс на дно какой-нибудь романтической башни, и полагал, что четвертование заживо не было бы слишком крутой мерой наказания для жильца, который не платит за квартиру

«из принципа».

Эти и им подобные соображения стали семенем, из которого в пане Броучеке не вдруг, но проросла симпатия к делам давно минувшим. Сравнивая настоящее и прошлое, каким оно виделось ему по собственным воспоминаниям, по рассказам старых пенсионеров и нескольким рыцарским романам, прочитанным в годы юности, он начал склоняться к мысли, что в стародавние времена во многих отношениях жилось лучше, нежели теперь. Он, конечно, не стал бы голосовать за введение в практику «железной девы» и инквизиции испанского образца, но вот, если бы каждого вора вешали, как тогда, на первой же виселице, государство могло бы экономить огромные суммы на прокормлении этих разбойников, которым нынче строят настоящие хоромы, вынимая денежки из карманов честных людей. А по какому праву заставляют бездетных людей приплачивать свои потом и кровью заработанные деньги на роскошное содержание в школах чужих детей? Раньше учение стоило полушку, но молодежь куда вежливее приветствовала старших, чем теперь. Фабрики не лишали ремесленника куска хлеба, зато сюртук можно было носить полстолетия. А железные дороги? Сколько возчиков и трактирщиков отменно кормилось тогда при дорогах, а путешествие в почтовой карете было хоть и продолжительнее, но не лишено приятности в связи с путевыми впечатлениями и не сопряжено с особым риском, ибо самое большее, что вам грозило, – это лишь поломка оси.

И ежели в стародавние времена нападали на путешественников разбойные рыцари со своей челядью, то они хотя бы селились на высоких скалах и подстерегали путников ночами в глухих лесах; ныне же они живут в лучших домах в центре города и обирают нас среди бела дня. Поэтому не стоит удивляться, что при таком направлении мыслей пан Броучек впадал порой в романтическое настроение, каковое – исключая лишь, быть может, ту пору, когда он предавался чтению рыцарских романов, – было ему совершенно не свойственно. И особенно часто посещало его это настроение, когда он, поднявшись в гору на Градчаны, приближался к «Викарке».

Автор этой книги должен признаться, что и сам он подпадает под романтические чары, когда ему случается посетить любопытный сей кабачок. Подходишь ли к нему с тыла, поднявшись по Старой замковой лестнице, пройдя через ворота у печальной Черной башни и миновав строение бургграфства и седые башни базилики Св. Иржи, или же с фасада, идя по Новой замковой лестнице, мимо старых дворянских домов, вдоль позднего портала Скамоцци, но когда, вступив на Третий двор замка, оказываешься перед величавым колоссом собора, стремящим к небу каменный лес декоративных колонн и арок, из всех углов вдруг выступают тени тысячелетнего прошлого и наполняют мою фантазию кипением мрачных и пестро сверкающих образов. Из сумрака давних веков всплывает передо мною рой первых христианских храмов; вижу таинственный взгорок Жижи, где ко-

гда-то священное пламя высоко взлетало в кругу славянских жрецов; вижу и каменный престол, на котором старинные Пршемысловичи обувались в лыковые лапти своего праотца. Но вдруг расплываются эти картины, и вместо них встает передо мной храм Св. Вита; еще не достроены его хоры, но уже сияет он во всем блеске своей новой красоты, и входит в него Карл в золотом королевском одеянии, окруженный блистательной свитой духовенства и рыцарей; потом появляется строгая фигура вифлеемского проповедника, смело прибивающего свой вызов на диспут о торговле индульгенциями на двери храма; тут кудрявая голова Иржи из Подебрад гордо несет сияющую корону; там Владислав Польский шествует во всем своем великолепии; вдруг заполняется двор иноземными фигурами в испанских одеждах или в темных ризах астрологов; а теперь в телегах, окруженных отрядами наемников, совершают свой крестный путь к Белой башне белогорские мученики – и дальше, все дальше ткется причудливое полотно картин радостных и печальных, возвышенных и ужасных.

На минуту освобождаюсь от власти прошлого и с удовольствием гляжу на поднимающиеся стены нового нефа храма, которым наше время дополнит великолепное творение эпохи Карла. Но узенькая Викарская улочка снова переносит меня в давно прошедшие времена. Я вспоминаю о бурных событиях, столь часто во дни религиозных распрей и раздоров нарушавших покой пражских каноников, чья трапезная на-

ходила, по-видимому, как раз там, где вас встречает сегодня скромный трактирчик пана Вюрфеля.

Хотя простое это невысокое строение снаружи несет отпечаток нового времени, вступая в его неправильной формы прихожую, я все еще пребываю в волшебной власти прошлого и так и жду, что пан Вюрфель выйдет ко мне в живописном средневековом наряде: пестрая шапочка на голове, кафтан с рукавами, украшенными буфами и прорезями, юбка, отороченная куньим мехом, плотно облегающие штаны, где одна штанина желтая, а другая лиловая, красные туфли с носами в пол-аршина, – и поставит передо мной вместо трезвой пол-литровой кружки огромный глиняный расписной жбан с дивными фигурками на крышке.

И когда я уже сижу в трактирном зале у глубокой ниши окна, через которое сквозь арку крытой лестницы виден внизу кусочек дворика, а за ним толстая крепостная стена, и в широком изгибе ее два маленьких окошка глядят на буйную зелень Оленьего рва, а направо вздымается пузатая, живописная, таинственная Мигулка – и там я все еще, обхватив ладонями голову, склоненную над кружкой хмельного пива, досматриваю в темном уголке свой сон о прошлом, – и мнится мне, будто сижу под готическими сводами некоей средневековой корчмы и жду, что вот открою глаза – и разом окажусь в каком-нибудь из минувших столетий.

Да простит мне читатель, что я несколько увлекся, говоря о себе: ему должно быть известно, с какой симпатией от-

носятся авторы к своей особе. Просто удивительно, до чего любят заниматься самими собой и с каким почтением, даже пиететом, взирают на свою персону. Я не говорю о поэтах-лириках, которые, как правило, посвящают свой дар исключительно культу своего возвышенного и драгоценного «я»; я не говорю об авторах, специализирующихся на описаниях путешествий, использующих чужие страны и народы по большей части лишь как декорации, на фоне которых ярче выделяется их интересная личность, каждый шаг которой вызывает симпатию поистине джентльменским самообладанием и изысканностью, хотя, быть может, она была комическим персонажем в глазах товарищей по путешествию и туземцев, которых она сама рисует с брезгливым юморком, – да что там, без выступления автора, всеми добродетелями приукрашенного, не обходится сейчас ни одна эпическая поэма, ни один роман, ни рассказ, ни новелла или очерк, и скоро, вне всякого сомнения, настанут времена, когда и драматурги введут свою собственную благодарную фигуру в круг действующих лиц своих пьес. Ученые сочинители ведут себя ничуть не лучше. Хотя бы в сноске они непременно вернут в свою статью или монографию «автора этих строк», и с каждой страницы на вас веет тем подлинным почтением, с каким они относятся к «автору настоящего исследования».

Но довольно рассуждений – к делу!

II

В четверг, 12 июля с. г. (я указываю точную дату, ибо для описания этого путешествия она имеет важность необыкновенную) пан Броучек после довольно длительного перерыва вновь отправился на Градчаны.

В «Викарке» было уже несколько посетителей, и вскоре завязался общий разговор, предметом коего послужило – как часто тут случалось – романтическое прошлое. Ведь в замке и вокруг замка все, можно сказать, живет за счет этого прошлого. Вы встретите здесь каноников и прочий духовный чин, унаследовавших с давних времен службу и жилье при древнем соборе; встретите ризничих, которым тот же возвышенный памятник старины обеспечивает кусок хлеба и кое-какой дополнительный доход, извлекаемый из карманов странствующих почитателей искусства; встретите здесь и служителей замка, которые, подобно унылым теням минувшей славы, обходят осиротелый град; встретите и благородных девиц из Терезианского института, чей вид отнюдь не нарушает общей архаичной атмосферы, и бедноту, ютящуюся в карликовых, снаружи идиллически подкрашенных, лепящихся к старой крепостной стене хибарках Золотой улочки, той Золотой улочки, в которой вы нашли бы столько же золота, сколько в тиглях алхимиков Рудольфа II, лаборатории коих досужая молва помещает именно сюда, –

той самой Золотой улочки, где наш современник может порой в самом деле умирать с голоду по соседству с жутко романтическими гладоморнями, куда чувствительные души пробиваются за щедрые чаевые, чтобы цепенеть и содрогаться при зрелище варварства веков минувших; вы встретите тут и других скромных обитателей здешних домов и домишек, приютившихся под сенью седых полуразрушенных стен и башен, – но тщетно стали бы вы искать здесь то главное, что составляет необходимую принадлежность прекрасного и славного королевского гнезда...

В тот день первой темой обсуждения в «Викарке» были древние крепостные стены и их ужасные казематы. Пан Вюрфель стал рассказывать, как однажды он на ворота съехал в самое глубокое подземелье Далиборки, в бывшую гладоморню, и что он там видел. Эффект, произведенный этим сообщением на публику, вдохновил его на новый рассказ – о подземных ходах, обнаруженных, когда копали котлован под фундамент нового придела собора Св. Вита, куда ему одному-единственному удалось проникнуть. По ступенькам, очень хорошо сохранившимся, он спустился под землю и нашел там два, к сожалению, засыпанных коридора, из которых один вел, по-видимому, точно под «Викаркой» в Олений ров, в то время как другой... куда вел другой, можно было только гадать.

Последнее сообщение возымело на пана Броучека сильнейшее действие, потому что подземные ходы с давних пор

обладали для него неодолимой притягательностью; в них была какая-то особая, жутковатая пикантность. Он тут же ухватился за новый предмет разговора и высказал мысль, что эти подземные коридоры, вне сомнения, являются лишь малой частью разветвленной сети тайных подземных ходов, которыми короли в минуту опасности могли выбраться из Градчан в любом избранном ими направлении. Никакой, даже самый заурядный рыцарский замок нельзя себе представить без таких подземных сооружений, не говоря уже о королевской резиденции, столь часто подвергавшейся вражеским нападениям.

Какой-то ученый господин, забредший в тот день в «Викарку», слушал рассуждения пана домовладельца с двусмысленной улыбочкой на лице, а потом заметил иронически, что, к сожалению, история не сохранила нам сведений ни об одном короле, который бежал бы подземным ходом из пражского Града. Пан Броучек, как и следовало, отмел с порога это наивное возражение.

– Ну что вы говорите, пан профессор, – произнес он, выразительно постучав себе пальцем по лбу, – ведь не думаете же вы, что древние короли были так глупы, чтобы сообщать кому попало, как и куда они из Града бегают? Ничего себе тайные ходы, о которых в школе рассказывают на уроках истории! Гениально! Ведь известно же, что даже рабочие, рывшие такие туннели, имели повязки на глазах, а по окончании работ их тотчас казнили.

Эти детальные сведения пан домовладелец почерпнул из уже упоминавшихся нами рыцарских романов, откуда он в юности узнал такую массу технических тонкостей о потайных ходах, что по праву мог бы выступать экспертом в данной области подземного строительства.

Сторону пана Броучека взял другой посетитель, заявивший, что эти подземные ходы оченьгодились бы королю Вацлаву для его ночных экспедиций, в которые он отправлялся со своим неразлучным приятелем палачом, а также для того, чтобы в час нужды он мог ускользнуть из сетей, расставленных ему враждебным дворянством, и скрыться в одном из своих домов в городе.

– Не иначе как через туннель под руслом Влтавы? – насмешливо спросил пан профессор. – Ибо, как известно, из трех домов короля Вацлава IV два находились в Старом городе, а третий так даже на Здеразе⁴.

– Весьма вероятно, что через такой туннель, – отрезал пан Броучек, раздраженный презрительным обращением и обидным тоном надменного профессора. – Или вы думаете, что подобный туннель так-таки никто и не мог построить? Я уже давно читал о туннеле под рекой Темзой в Лондоне, а еще в газетах недавно писали, что собираются копать большой туннель под морским дном из Англии во Францию. Вот так-то!

– Ну что вы говорите, почтеннейший! Что стало возмож-

⁴ Здераз – район Праги.

ным в наши дни, при нашей развитой технике... – начал было пан профессор, продолжая улыбаться в свойственной ему презрительно-снисходительной манере, но единомышленник пана Броучека резко пресек его рассуждения:

– Ого-го, уж не думаете ли вы, пан профессор, что в старые времена не умели так же основательно вгрызаться в землю, как в наши дни? Прекрасный урок могли бы вам дать Пршибрамские копи или, к примеру, кутногорский Осел!

– Да и любой осел! – добавил вошедший в раж пан Броучек, который и слыхом не слыхал про кутногорский рудник такого названия. – Я лично мог бы вам перечислить рыцарские замки, от которых тайные ходы вели под горами и долами, под скалами и лесами к другим замкам, лежавшим в нескольких милях, да, в нескольких милях, это вам не короткий туннель под Влтавой. Например, от замка Ойленштейн к замку Тойфельсбург, если память мне не изменяет... Но только тогда подобные вещи делались тайно, чтобы все было шито-крыто, а не то что теперь, когда по поводу каждого прорытого перешейка поднимается адский крик на весь мир!

Вряд ли надо повторять, что как замок Ойленштейн, так и замок Тойфельсбург, о местоположении которых я ничего не могу сообщить читателю, были извлечены паном Броучеком из тех же литературных источников его юных лет.

В дебатах, с каждой минутой набиравших остроту и страстность, приняли бурное участие все присутствующие.

щие, исключая единственно пана Вюрфеля, едва поспевавшего наполнять кружки, осушаемые наперебой в пылу дискуссии. Больше всего хлопот доставляли ему кружки пана домовладельца. Дело в том, что в последнее время пан Броучек очень стал заботиться о своем здоровье и потому следит за тем, чтобы пиво хорошенько отстоялось, для чего и требует две кружки сразу: сейчас они ему очень помогали наглядно демонстрировать положение Ойленштейна и Тойфельсбурга. Крепостные гарнизоны были представлены содержимым обеих кружек, а тайным подземным ходом служило собственное горло пана Броучека, через которое гарнизон Тойфельсбурга исчезал прежде, чем пан Вюрфель успевал снабдить Ойленштейн свежим подкреплением. А тут еще пан домовладелец припомнил третий укрепленный замок, какой-то Ункенфельс, также имевший с упомянутыми двумя подземную связь, и распространил свои демонстрационные действия и в этом направлении, так что пану профессору пришлось настойчиво обратить его внимание на тот факт, что предполагаемый Ункенфельс является его (пана профессора) собственной кружкой и в данный момент не имеет никаких точек соприкосновения с тайным ходом пана домовладельца.

Ораторское побоище завершилось полной победой пана Броучека. Поверженные противники один за другим обращались в бегство, так что под конец наш герой остался на захваченном поле битвы сам-друг с паном Вюрфелем, кото-

рый хотя и сопровождал дальнейшие его рассуждения звуками, выражающими совершенное одобрение, но при этом старательно сверял свой брегет со стенными часами. Читателю «Путешествия на Луну» известно значение сих действий, и потому он не удивится, что через какое-то время пан домовладелец расплатился и своей знакомой всем лунной походкой вышел из зала трактирчика.

К несчастью, пан Вюрфель был занят разборкой завалов на поле боя и потому не смог, как обычно, вывести дорогого гостя через прихожую на улицу, а только сказал ему вслед: «Покойной вам ночи, пан домовладелец, – лукаво добавив: – И осторожно с Луной!»

Я говорю: к несчастью, а следовало бы скорей сказать – к счастью, ибо без этой небрежности со стороны пана Вюрфеля пан Броучек не пережил бы нового потрясающего приключения и не родилась бы эта книга.

Но прежде чем приступить к обрисовке дальнейших событий, приличествует сообщить читателям некоторые топографические сведения, хоть и не сомневаюсь, что, пожалуй, каждый сознательный чех уже посетил приснопамятное гнездо, откуда выпорхнули открытия пана Броучека.

Трактир пана Вюрфеля расположен примерно в середине Викарской улочки, напротив поднимающегося нового нефа собора Св. Вита. Через стеклянную дверь входите вы в небольшую прихожую, из нее дверь направо открывается в залу, тоже небольшую, зато уютную, глядящую двумя

окошками на Викарскую и одним во дворик, на Олений ров. Принимая во внимание огромную роль этого помещения в деле исследования Луны и его значение для отечественной истории, я мог бы подробно обрисовать и несколько столов с солонками и перечницами, образцово захватанного «национального стрелка»⁵, и несколько картин, весьма небезынтересных в художественном отношении, но прежде всего требующих основательной реставрации; но я оставляю эту возможность тем моим собратьям по перу, которые не могут спокойно миновать ни одного читателю совершенно безразличного места, не составив детальнейшего реестра всего его содержимого, так что и строжайший судебный исполнитель не нашел бы никакого изъяну. В глубине залы находится дверь, ведущая еще в одно помещение, посторонней публике недоступное; лишь пан Вюрфель, готовясь принести жертву своим ларам и пенатам, вступает туда, как верховный жрец входит во святая святых.

Однако возвратимся из залы в прихожую. В глубине ее открывается дверь в кухню, а направо – выход на крытую лестницу, спустившись по которой вы можете с одной стороны войти в подвал, а с другой – выйти на романтический дворик, нами уже упомянутый.

Вот краткий перечень помещений «Викарки» – как, пожа-

⁵ Механическая игрушка, при помощи которой мелкие монетки «встреливались» в кассу; собранные таким образом средства изредка направлялись на общественные нужды.

луй, написал бы в своем лучшем стиле всемирно известный путешественник Йозеф Вюнш. Хорошим пособием для читателя явится примерный план, выполненный прилежным иллюстратором.

Итак, пан Броучек вышел из залы в прихожую; но вот что случилось с ним в последующие мгновения, по-видимому, останется навеки покрыто мраком неизвестности... Вюрфель, правда, пребывает в непоколебимом убеждении, что пан домовладелец – несомненно, погруженный в анализ спорной теории тайных переходов – ошибся выходом и повернул в прихожей не к дверям на улицу, но в направлении противоположном, а именно к ступенькам, ведущим во дворик; однако пан Броучек решительно отвергает эту версию.

Правда, с уверенностью он может припомнить лишь то, что земля вдруг расступилась у него под ногами и он со страшной быстротой съехал по крутой наклонной плоскости куда-то в глубину. Когда же он очутился вновь на твердой почве и пришел в себя, то машинально стал ощупывать свое тело и все вокруг себя, ибо все тонуло в кромешном мраке. У себя он не обнаружил никаких повреждений, а вокруг нащупал лишь сырую землю и такие же сырые и холодные стены.

Он припомнил, что у него есть коробок спичек, и, чиркнув одной из них, посветил перед собой. Ему открылся тесный, низкий коридор, вида унылого и заброшенного, со стенами, покрытыми плесенью, а местами и обрушившимися.

Конца его при робком огоньке спички рассмотреть не удалось. Он зажег другую спичку и посмотрел назад: в коридор спускалось устье крутой, идущей наискосок под углом к поверхности шахты, по которой он съехал вниз. Верхнюю часть шахты разглядеть никак не удавалось, хотя он потратил на это несколько спичек.

– Вот еще история, – проворчал пан Броучек и стал думать, куда это он провалился. «Без сомнения, в подвал», – утешил он себя. Хотя в подвалах не бывает таких узких коридоров, и, судя по длительности быстрого падения, подвал этот лежит необыкновенно глубоко... Впрочем, возможно, что «Викарка» унаследовала какие-нибудь особые подвалы, королевские или епископские, тех времен, когда бочки делались на тысячу ведер и потому нуждались не в таких погребках, как нынче. «И дай-то бог! – убеждал сам себя пан домовладелец. – Этим проходом я доберусь до винного погреба и, если там двери заперты, легко достучусь или дозовусь Вюрфеля, которому я тотчас же выговорю за то, что он оставляет на дороге у посетителей без всякого присмотра такие провалы, где его клиенты могут сломать себе шею».

Он встал на ноги и начал ощупью продвигаться вперед по коридору. Первый испуг миновал, и мысль его крепко ухватилась за ниточку придуманного им своему нечаянному приключению объяснения. Он просто провалился – и, по счастью, без ущерба для организма – сквозь какое-то отверстие в винный подвал, и если ему даже придется тут за-

ночевать, ну что ж... конечно, провести ночь на голой и сырой земле или даже на возвышении, где стоят бочки, не ахти как приятно, но, в общем, и ничего ужасного тоже нет, чтобы переспать однажды в обществе дружелюбно настроенных бочек, так сказать, в объятиях родственной стихии, прямо под отверстием, из которого одним движением руки он сможет открыть для себя божественную струю пльзенского. В наказание неосторожному Вюрфелю он использует эту возможность сполна, и его сегодняшнее приключение долго еще будет служить пищей для веселого разговора. И все же он с бьющимся сердцем освещал себе путь вперед, нетерпеливо пытаясь угадать в угрюмой тьме желанные очертания бочек. Но тщетно: проход по-прежнему был пуст, тесен и неприветлив.

Наконец угас последний луч надежды. Исчез образ винного подвала, единственный образ, придававший подземелью уют в глазах пана домовладельца, – и на смену ему явились картины ужасные, которые он до тех пор отгонял от себя усилием воли. Без сомнения, он провалился в какие-то катакомбы, в лабиринт подземных склепов под собором Св. Вита! Вместо симпатичных бочек в его взбудораженном воображении замелькали источенные червями гробы, истлевшие саваны, иссохшие трупы, оскаленные черепа, чудовищные мумии... От ужаса волосы у него на голове стали дыбом, пан Броучек невольно шагнул назад.

Как по мановению руки, ситуация вдруг явилась ему

в красках наимрачнейших. Он изо всех сил старался отогнать от себя гробовые тени и подумал о тайных ходах, существование которых столь бурно и столь недавно обсуждалось. Но и эта перспектива была мало привлекательна. Это наверху, за кружкой пива в приятной компании, хорошо говорить о таких коридорах, иное дело – ощупью брести по ним один-одинешенек в глухую полночь бог знает где под землей.

И вдруг ему на ум пришла спасительная мысль. Ну как это он сразу не смекнул? Ведь можно было покричать и позвать на помощь через ту шахту, по которой он съехал вниз и которая вверху непременно должна выходить куда-то в помещения «Викарки» или поблизости от них.

Пан Броучек быстро нащупал дорогу назад и, вернувшись к нижнему отверстию шахты, закричал в полную силу своих крепких легких:

«Эй, пан Вюрфель! Пани Вюрфелева! Эй, люди-и! Эй, кто там есть! Помоги-и-и-те-е-е!»

Он прислушивался и снова кричал, но ответом ему был лишь собственный голос, возвращаемый гулким и зловещим эхом от стен шахты бог весть какой глубины. И все же он не оставлял своих попыток, пока не охрип. Тогда, потеряв надежду, он поник головой.

Ну что теперь? Остается только вновь отправиться в исследовательскую экспедицию по коридору. Правда, археологические эти изыскания не слишком прельщали пана Бро-

учека. Его интерес к древностям разом упал ниже нуля. Впрочем, я полагаю, что и сам профессор Седлачек не испытал бы особого восторга, если бы, выйдя из уютной залы трактира, очутился вдруг один-одинешенек в каком-нибудь из подземных ходов Града, не зная, каким путем он из него на свет божий выберется и выберется ли вообще.

Если помощи через шахту не дозовешься и если коридор на другом конце засыпан... Страшная мысль! Тогда ты здесь заживо погребен, несчастный Броучек, и ждет тебя тут жалкая смерть от голода, во сто крат более жалкая, чем на Луне, где тебя хоть оплакали бы чувствительные лунные жители; здесь же ни одна сердобольная душа не будет скорбеть о тебе, когда ты, изнемогая от голода, будешь грызть собственные руки, никто не закроет твоих глаз и, может, даже никто никогда не найдет твои истлевшие кости!

Так сокрушался наш герой, опять вступая в коридор. Головой он задевал о выступающие или вовсе вываливающиеся камни низкого потолка, ноги его скользили на влажной почве, спотыкались о груды сбитой штукатурки, но отчаяние и смертельный ужас подгоняли несчастного, и он быстро продвигался вперед.

Пройдя довольно долго, он сел наконец на минутку передохнуть и осмыслить свое ужасное положение. Мелькнувшая было звездочка надежды – что ход выводит в Олений ров – теперь погасла: он шел так долго, что давно б уже был наверху, если бы туннель вел в этом направлении. На камен-

ные ступени, по которым сошел когда-то Вюрфель, тоже надежды не было; впрочем, ведь Вюрфель говорил, что проходы, к которым вели ступени, засыпаны, да и сами ступени, наверно, уже давно замурованы в фундаменте нового придела. Но что, если туннель в самом деле ведет в один из бывших королевских домов в городе, как он сам недавно доказывал снобу профессору?! По продолжительности своего скольжения по крутому стволу шахты он заключил, что дно ее вполне могло находиться ниже уровня дна Влтавы и, следовательно, горизонтальный туннель, от нее отходящий, мог проходить под руслом реки и вести в Старый город; и, может быть, где-нибудь там, в подвале какого-нибудь старого дома, где некогда жил король Вацлав, и заканчивается этот ход?..

Он ухватился за эту идею, как хватается тонущий за последний обломок корабля, и со всей решимостью двинулся дальше. Сначала он опять чиркал спичку за спичкой, но вовремя опомнился, рассудив, что таким образом можно израсходовать весь коробок, не пройдя и половины пути. А если коридор не оканчивается выходом на поверхность, если он засыпан или теряется в лабиринте других коридоров, что он будет делать без света в этой тьме египетской? Ему не хотелось доводить эту страшную мысль до логического конца.

Так или иначе, он решил экономить спички насколько возможно и использовать их лишь в случае настоящей необходимости. Трудности его передвижения возросли тем самым втрое. Пригнув голову, он осторожно ошупы-

вал стены и передвигал одну ногу вслед за другой с величайшими предосторожностями: сверху он боялся выступающих камней, а снизу, с одной стороны, обломков, коварных колодцев и провалов, с другой же – змей, ящериц, василисков и прочих ядовитых гадов, которые обожают гнездиться в таких потайных ходах, – это он хорошо усвоил из рыцарских романов, неоднократно здесь нами упоминавшихся. Ко всему прочему, над ним неустанно витала окровавленная тень некоего Бертрама фон Угуштайна и тени других несчастных рыцарей и дам, злодейски погубленных в подземельях.

Каждый согласится, что я мог бы еще долго с выгодой для себя использовать положение, в которое попал несчастный пан Броучек, и заполнить несколько волнующих глав дальнейшим пространном описанием его жутких подземных странствий, прибегнув к помощи разнообразных препятствий и опасностей – срывающихся камней, разверзающихся пропастей, сражений с крысами, падений через скелеты и тому подобных увлекательных вещей. Но цель моя не в том, чтоб распинать на дыбе читательские чувства, – я полон решимости объективно изложить чистейшую правду.

А потому скажу лишь кратко, что пан Броучек все шел и шел ошупью по коридору, и казалось, его крестному пути не будет конца. Но внезапно в нем снова зародилась надежда. Он услышал над головой глухой ропот, будто тяжелые воды шумно катились над ним, и на разгоряченный его лоб упали

с промокшего свода холодные капли. Его догадка подтвердилась: да, видимо, он достиг уже той части туннеля, что находилась под руслом Влтавы и вела в Старый город!

Приободрившись, он с новыми силами продолжал свой мученический путь, опасаясь теперь лишь одного: как бы выход из туннеля не оказался завален где-нибудь глубоко под землей, не упирался в какой-нибудь замурованный склеп или в заброшенный водосточный канал.

Шум над его головой затих: наверное, он был уже под Старым городом. С бьющимся сердцем, в напряженном ожидании он быстро продвигался вперед. Вдруг нога его наткнулась на какое-то препятствие; он поспешно зажег спичку и – о, кто сможет передать радостное его волнение, когда он увидел обросшие мхом каменные ступеньки, ведущие куда-то вверх!

Нетерпеливо устремился он по ступенькам, освещая себе дорогу спичками. Лестница шла винтом, и подниматься по ней было неудобно. Наконец он добрался до тесного и низкого помещения и прямо перед собой заметил густо затканную паутиной, всю в червоточине дверь, искусно обитую железными, но уже сильно изъеденными ржавчиной прутами. В замке, таком же заржавелом, торчал – о радость! – огромный, ржавый, странной формы ключ.

Пан Броучек прежде всего попробовал, не открыта ли дверь. Увы, нет. Тогда он попытался повернуть в замке ключ. Он тужился что было мочи, капли пота выступили у него

на лбу, но все было тщетно. Ключ будто сросся с замком в единую ржавую массу. Наконец, когда он обернул руку платком и напруг все силы, старое железо со страшным скрипом поддалось. Он потянул дверь на себя, но она не открылась. Тогда он навалился на нее с этой стороны и был наказан за свою неосторожность: дверь внезапно распахнулась, и пан Броучек полетел куда-то вниз, по счастью с малой высоты, так что лишь слегка ушиб себе коленки.

Он поднялся и осветил округ. То, что он увидел, было столь неожиданным, что от изумления он выронил спичку. В неверном свете ему явилось видение как из волшебной сказки.

Он чиркнул новую спичку – нет, это не был мираж. Он стоял в тесной и низкой комнате, не имевшей окон, но сиявшей, как сундук, набитый доверху редчайшими драгоценностями. И то были настоящие, подлинные драгоценности. Стены были сплошь усеяны яшмой, горным хрусталем, аметистами, халцедонами и иными самоцветами по золотому фону; более дорогие камни – алмазы, рубины, гранаты, сапфиры, изумруды и прочие – блистали на золотых и серебряных шлемах, панцирях, рукоятях и ножнах мечей, на щитах, поясах, диадемах, пряжках, перстнях, потирах, блюдах и бокалах, на распятиях и четках, на парчовых королевских мантиях и других одеждах из редкостных тканей, расшитых жемчугами, частью развешанных по стенам, частью живописными грудями лежащими на расписных либо инкру-

стированных сундуках, золотыми и серебряными полосами и гвоздями окованных и обитых, видимо, и иные сокровища содержащих; частью же прямо на полу, который и сам был сложен из посеребренных и позолоченных дощечек.

Лишь с часовней Креста на Карлштейне, где Отец страны собрал на малом пространстве, как в фокусе волшебного зеркала, все, что было в его королевстве драгоценнейшего, прекраснейшего и наисвятейшего, можно было сравнить эту ослепляющую взор комнату. Но, в отличие от той, куда сам император Карл вступал, сначала снявши обувь, для молитвы у сияющей святыни, где покоились под божественной защитой драгоценные реликвии и сокровища страны, эта комната была, по-видимому, кладовой сокровищ светских, и их владелец приходил сюда, просто чтобы потешить свой взор зрелищем сказочного великолепия, образчики которого собрал он здесь.

Неудивительно, что пан Броучек, обнаружив такое богатство, был потрясен. Он никогда не слышал и не подозревал, чтобы в Праге могла быть сокровищница, которая затмила бы даже сокровищницу капуцинов в монастыре Св. Лореты на Градчанах. Ему тут же пришло в голову, что подземный ход вывел его в тайное хранилище богатств короля Вацлава, остававшееся неизвестным до той минуты, когда пан Броучек в силу счастливой случайности обнаружил его.

От этой мысли у него закружилась голова. Если это так, ему должна принадлежать, во всяком случае, какая-то часть

клада, а ведь и десятая доля этих сокровищ делает его невероятным богачом.

Он снова чиркнул спичку и, заметив, что с потолка на серебряных цепочках свисает драгоценная золотая лампа, зажег фитиль. Лампа разгорелась и довольно ярко осветила небольшое помещение, пан Броучек мог теперь без помехи любоваться блеском сокровищ. Он касался их, брал некоторые вещи в руки, прикидывал мысленно цену этого богатства, которая стремительно росла, достигая уже головокружительных цифр. Он разом позабыл все свои страхи, минуту назад терзавшие его в подземном коридоре.

Пан Броучек был в экстазе.

Осматривая комнату, он слегка притворил дверь, открытую вовнутрь, и вновь был поражен: внутренняя сторона ее представляла собой картину в дорогой золотой раме, которая, когда дверь закрывалась, так плотно прилегала к стене, что никто бы и не заподозрил здесь потайного хода. Тому способствовало еще и то обстоятельство, что картина не достигала пола, а была повешена выше, примерно – из-за низких сводов комнаты – на уровне окна, почему падение пана Броучека и оказалось не столь страшным.

В момент, когда пан Броучек полностью закрыл дверь, его охватило странное чувство. Голова его закружилась, сознание заволкло пеленой, будто вихрем молниеносно накрыло его и унесло куда-то вдаль. Но это длилось лишь мгновение.

Головокружение прекратилось, и пан Броучек пробормо-

тал, держась руками за голову: «Какого черта! Мне почудилось, что я сейчас в обморок упаду или, сохрани боже, что меня вот-вот хватит удар... И ничего удивительного – после всех этих волнений! Но слава богу, вроде пронесло».

Он снова взглянул на картину, представлявшую какого-то государя с большой собакой у ног – возможно, короля Вацлава. Пан домовладелец признал в том явное подтверждение своей догадки. Однако его удивила свежесть красок: полотно выглядело недавно написанным. Странное дело! По ту сторону двери все источено червями и разъедено ржавчиной – здесь же краски так свежи, будто художник лишь недавно закончил портрет. И все вещи в сокровищнице сияют, как новехонькие; и ризы тоже не кажутся ни поношенными, ни выцветшими. Может, это вовсе не сокровищница короля Вацлава, а кладовая какого-нибудь нувориша, нынешнего владельца бывшего королевского дома? Но и эта мысль отпала. Хотя все тут и казалось новым, эти украшения, оружие, одежда и прочее имели формы, стиль и покрой стародавних времен, какие уже не встречаются у схожих вещей нашей эпохи; ясно, что это не современная сокровищница. Может быть, лавка антиквара? Но тогда вещи не выглядели бы все так ново, особенно одеяния.

В конце концов он объяснил себе удивительную сохранность предметов тем, что помещение долгое время было заперто и в нем поддерживалась особая атмосфера; слышал он как-то раз, будто в некоторых таких камерах даже мертвые

столетиями сохраняют прежний вид.

«Небось подвал этот не открывали со времен короля Вацлава», – подумал он потом, и от этой мысли холодок пробежал у него по спине. Короля Вацлава он хорошо знал по своим книжкам и по разговорам – конечно, не исторического короля Вацлава, а другого – ленивого, с огромным черным псом, следующим за ним по пятам, и кумом-палачом, шагающим с ним рядом. Он представил себе, как, может быть, в последний раз шел король подземным коридором, чтобы насладиться зрелищем своего тайного клада, как потом вышел через дверцу, скрытую за картиной, и повернул в замке ключ, которого с тех пор не коснулась человеческая рука, пока столетия спустя его не повернула рука пана Броучека. Он невольно отступил на шаг, со страхом взглядывая на портрет, – на минуту ему показалось, что сам грозный король со своим чудовищем псом стоит живой в проеме открытой двери и грозит ему.

Но ничуть не бывало! Дверь закрыта, и на ней всего лишь картина, помещенная здесь, скорее всего, с целью преградить путь в тайный ход случайному пришельцу, если бы онный как-то проник в сокровищницу.

Тут только пан Броучек стал оглядываться в поисках второго выхода – в восторге от найденного клада он об этом совершенно позабыл.

Детально осмотреть небольшое помещение не составило труда, но он нигде не заметил ни дверей, ни даже оконца.

Тут взгляд его упал на картину в золотой, украшенной драгоценными камнями раме; она изображала королеву и висела в точности напротив портрета короля, причем на том же уровне, и размеры ее тоже полностью соответствовали портрету короля.

Только эти две картины и были здесь, и пану Броучеку сразу же пришло на ум, что и за портретом королевы тоже должна быть скрыта дверь. Он сильно потянул раму на себя, потом стал вдавливать ее в стенку, но картина не поддавалась.

Ужас вновь охватил пана Броучека при мысли, что из сокровищницы нет никакого другого выхода, что он находится где-то в недрах каменной горы, вдали от человеческого жилья, так что в конечном счете ему не останется ничего иного, как умереть голодной смертью посреди всего этого богатства, что отнюдь не более приятно, чем смерть в подземном коридоре. Но тут он заметил, что рама в одном месте более захватанная. Он взялся за это место, стал щупать, нажимать, и – о, радость! – вдруг поддалась какая-то завитушка, и, когда он нажал посильней, вся картина вдруг сдвинулась и в стене открылся проход.

Пан Броучек вспрыгнул на край проема и осветил спичкой пространство впереди. Он увидел длинный коридор, увешанный картинами и с окнами, сложенными из мелких разноцветных стекол. «Слава богу!» – вздохнул он с облегчением.

Все-таки он еще раз вернулся в сокровищницу: он был не в силах сразу с ней расстаться. Теперь, когда путь был открыт, пан Броучек впервые испытал радость полную и ничем не омраченную. Это была царская награда за все, что той ночью довелось ему пережить.

И все же он преодолел искушение сразу набить карманы пригоршнями драгоценных камней. Если это в самом деле тайный клад, то никуда он не денется. Нужно лишь хорошенько запомнить место, чтобы опять его найти.

Погасив лампу, пан Броучек вышел из сокровищницы в коридор и осветил дверь с другой стороны. Он увидел, что здесь тоже изображена какая-то королева – без сомнения, одна из двух супруг короля Вацлава, может быть, та, что была задушена в Карлштейне его огромным черным псом. Когда пан Броучек прикрыл и придавил дверцу, картина слилась с рядом других таких же, ничем не выделяясь среди полотен, украшавших коридор.

«Ну, теперь все понятно! – мысленно ликовал пан домовладелец. – Конечно же, это тайная сокровищница короля Вацлава, помещенная в каком-то из его городских домов и соединенная подземным ходом с замком на Градчанах; и второй выход был так тщательно замаскирован, что остался неизвестен всем последующим обитателям дома. Тысячи людей тысячи раз прошли по этой галерее, и никто из них даже не заподозрил, какое богатство скрывается за этой картиной».

Он решил пока сохранить драгоценную тайну в своем сердце и уж потом выбрать, стоит ли довериться нынешнему владельцу дома и поделиться с ним, или же каким-нибудь хитрым способом самому завладеть всем кладом, что, конечно, было бы предпочтительнее и вдобавок совершенно справедливо.

Он удостоверился еще раз – на взгляд и на ощупь, – что портрет опять плотно прилегает к стене и, следовательно, не может возбудить чьих-либо подозрений, и тихонько пошел по коридору, слабо освещенному лунным светом, падавшим сквозь частый переплет окон.

Он ступал с осторожностью, но при этом отнюдь не утруждал себя мыслью о том, что будет, если его застанут здесь, в чужом доме, глухой ночью, ни о том, как он отсюда выберется. Голова его была занята найденным кладом и сладостно кружилась. Стремительным роем проносились в его мозгу видения дворцов, летних резиденций, пышных выездов, ливрейных слуг, изысканнейших деликатесов, обольстительных красавиц и прочих соблазнов, которые, пожалуй, в подобных обстоятельствах пришли бы на ум и читателю; однако, к чести моего героя, я должен добавить, что он вспомнил и свою экономку, решив отправить ее со скромной пенсией на отдых, и всех своих знакомцев, которым он устроит в «Викарке» великолепный пир (бесплатно), и даже «Центральную Матицу», на нужды которой он в качестве великодушного дара выделит двадцать гильденов.

Тем временем он дошел до лестницы и по ней спустился в длинный и узкий коридорчик, в конце которого была железная решетчатая дверца. Он был радостно удивлен, обнаружив, что дверца не заперта, и, выйдя через нее, увидел черные силуэты домов и за ними звездное небо.

– Какая бесхозяйственность! – заворчал он, но в душе благословлял незнакомого привратника, своей небрежностью открывшего ему путь из чужого дома.

Итак, он снова был под божьим небом, на вольной улице.

III

Отдышавшись как следует на свежем воздухе, пан Броучек счел своей первейшей обязанностью рассмотреть и запомнить облик дома, хранившего в себе его грядущее богатство.

Он оглянулся, посмотрел наверх и тут обнаружил, что коридорчик, из которого он только что вышел, является просто крытым проулком, ведущим меж двух домов к третьему, большому зданию, стоящему в глубине, где, по-видимому, и был некогда двор короля Вацлава. Тогда он осветил железную дверцу и увидел на ней посередине искусные кованые украшения – особенно поразили его птички в венках, очень похожие на те, что украшают Мостовую башню в Старом городе.

Потом он бросил взгляд направо и налево, чтобы определить улицу. Но, увы, хотя пан Броучек знал Прагу вдоль и поперек, он ничего не мог разобрать. В узкой улице царилась тьма, но в вышине при свете луны четко вырисовывались очертания высоких островерхих фронтонов, причудливых эркеров с башенками и балконами, складываясь в фантастическую картину, какой пан Броучек никак не мог припомнить за все время своих блужданий по Праге.

«Наверняка я попал в еврейский квартал, – сказал он себе. – Только там могут еще быть такие богом забытые уг-

лы, куда даже я никогда не заглядывал. Это же скандал, что посреди современного города сохраняются такие уродины. Все говорят об упорядочении, будто бы уже и планы готовы, но я думаю, мы этого упорядочения дождемся скорее, чем родниковой воды, на которой я, вообще-то говоря, и не стал бы настаивать. Наполеона нам не хватает – чтобы пришел, как тогда в Париже, поставил с четырех сторон пушки и сровнял бы все с землей. Вот и было бы упорядочение! Хотя что толку упорядочивать с одной стороны, когда с другой выбрасываются деньги на реставрацию всяких старых ворот, и башен, и часовен, которых в Праге прорва и которые загораживают нам проход, – а ради чего? Чтобы какой-нибудь полоумный иностранец мог на них глаза пялить? А сколько вместо этого можно б построить прекрасного, прибыльного, высокодоходного жилья! А все потому, что в магистрате заправляют непрактичные ученые да профессорье!»

Как можно видеть, пан домовладелец, наперекор своим временным увлечениям стариной, остался пламенным приверженцем передовых идей современности.

Он сделал несколько шагов, продолжая свои рассуждения: «И тьма – как в могиле. Вот это хозяйствование! Хоть бы один фонарь оставили гореть! И это почему-то называется у нас «просвещенное руководство городом». Для чего существует объединенное газовое хозяйство? На что идут все доплаты к налогам, которые прямо с мясом от себя отрываешь?

Если не хочешь ложиться спать с курами, то берегись – в боковых переулках непременно расквасишь нос или поломаешь ребра. И костей не соберешь! Таких мостовых постыдились бы в самой захудалой провинции. А, чтоб тебя!»

Последний яростный вопль относился к обширной луже, в каковую неожиданно для себя вступил пан Броучек, отчего ее неизвестного происхождения содержимое с громким всплеском и чавканьем взметнулось высоко, окатив нашего пешехода.

– Нет, про это я сообщу в газету! – возопил пан Броучек, пылая праведным гневом. – Тотчас же, с утра, пусть даже это обойдется мне в пятерку. Сие переходит всякие границы! Эдакие пруды посреди улицы! А вонь! Месяц теперь не отобьешь запах от моих невыразимых. А еще толкуют об общественном здравоохранении! Интересно, для чего мы держим штат городских эскалопов, или как там называются эти дармоеды. Видно, для того лишь, чтобы мытарить порядочных людей. У меня они переселяют жильцов из подвальных квартир – там, видите ли, немножко капает со стен, – а тут, на общественной улице, можно утонуть бог знает в каком дерьме.

Он зажег спичку и осветил на землю.

– И-и-и! Да тут каждый выливает на улицу свои помои и все что ему заблагорассудится. Ну погоди, достопочтенный магистрат, это мы отразим в хорошенькой статейке, которую вам не захочется повесить в рамочке на стенку. Вот вы-

сплюсь и сразу пойду к перчаточнику Клапзубе, пусть он мне напишет. И полицию тоже надо пропесочить. Уверен, что ночью сюда ни один постовой носу не кажет. А ведь в такой тьме крошечной нехорошие люди вполне могут свернуть тебе шею, и охнуть не успеешь: темнотища очень подходящая.

Тем временем он дошел до угла и с надеждой заглянул в поперечную улицу, отходившую налево.

– И тут – тьма как в подземелье! Все будто вымерло. Ни души кругом, чтобы можно было хоть спросить, где я, собственно, нахожусь. Это же скандал, когда старый пражанин в своем родном городе должен спрашивать дорогу, будто паломник ко святому Яну Непомуцкому. Я-то думал, что знаю в Праге каждый дом – а вот уже вторая улица, и я ее не знаю, будто я опять на Луне. Нигде в Праге не попадались мне такие ряды странных фасадов и острых крыш, столько башенок и галерей. Не иначе попал я в какой-то квартал, где давно не был, а за то время господа архитекторы понастроили тут кучу домов по нынешней сумасбродной моде! Раньше как было: гнали четыре ровные стены, на них ставилась трехскатная крыша – и вот тебе дом, все как полагается. Ну, наверху, конечно, труба, а впереди два-три ряда нормальных окон – радость посмотреть. А теперь – сплошные башни, галереи, колонны, полным-полно всяких рож и уродов, да еще какая-то пестрая роспись пошла, прямо голова кругом. Архитекторы уже не знают, как еще у дураков деньги из карманов выуживать!

От этой филиппики пана Броучека отвлек призрачный свет, возникший во тьме поперечной улочки. Он было подумал, что это фонарь, стоящий на углу, но потом распознал в этом тусклом светильнике обыкновенный фонарь, который какой-то прохожий нес в руке, освещая себе дорогу.

«М-да, докатились мы! Срамота, люди в Праге ходят с фонарями, как в захолустье», – рассердился пан домовладелец, но в душе был рад, обнаружив живое существо, которое может сообщить название улицы, столь важной для него укрытым здесь кладом, и тогда он кратчайшим путем отправится домой, в свою уютную спальню, по которой он уже искренне стосковался.

Итак, он ускорил шаг, направившись навстречу позднему или, лучше сказать, раннему прохожему. Но когда расстояние между ними сократилось шагов до пятидесяти, человек, шедший навстречу, резко остановился и стал вглядываться в темноту, в то место, где невольно остановился и Броучек. Вид незакомца, насколько пан домовладелец мог рассмотреть при бледном и мутном свете фонаря, был поразителен.

«Какого черта! – подумал пан Броучек. – Не иначе ряженный. И откуда бы? Ведь сейчас вовсе не Масленица, июль месяц. И похорон торжественных тоже вроде не было, так что это и не загулявший знаменосец какой-нибудь гильдии. А может, это статист сбежал со спектакля прямо в театральном костюме?»

Пока наш герой предавался этим размышлениям, человек

с фонарем поспешным шагом направился на противоположную сторону улицы.

«Ага! – подумал пан домовладелец. – Наверное, ему совестно своей шутовской одежды, а может, он думает, я полицейский. Но ты от меня не уйдешь!»

И он тоже повернул на другую сторону улицы, так что их пути должны были скреститься у стены противоположного дома. Но не успел пан Броучек дойти до того места, как чудной прохожий вдруг отпрыгнул к стене дома и прижался к ней спиной; выкинув вперед руку, он крикнул с угрозой в голосе:

– Коли не со злом, остановися!

Пан Броучек невольно отступил назад, ошеломленный угрожающим движением и выкриком незнакомца, а также странным выговором, особенно этим «остановися». Он подумал, что парень перепил и с трудом ворочает языком, но тут увидел в его вытянутой руке какое-то колющее оружие, которое отнюдь не выглядело бутафорией.

Он отступил еще немножко и произнес укоризненным и в то же время успокаивающим тоном:

– Не думаете же вы, что я какой-нибудь бродяжка, нацелившийся на ваше портмоне? Спрячьте скорей вашу игрушку и радуйтесь, что ее не увидел полицейский: ибо я очень сомневаюсь, что вы имеете разрешение на ношение столь опасного холодного оружия. Хотя, действительно, нам скоро не останется ничего другого, как самим заботиться о соб-

ственной безопасности, если полиция терпит на улицах такую тьму египетскую, которая весьма располагает ко всякого рода нехорошим делам. Но я – я порядочный, мирный гражданин, который лишь хотел осведомиться у вас, где я, собственно, нахожусь?

Пока Броучек говорил, человек с фонарем несколько раз взглянул направо и налево, будто искал еще одного, невидимого участника разговора. Потом он опустил слегка свой кинжал, но не ослабил напряженного положения тела и проговорил голосом, почти не утратившим первоначальной резкости:

– Трудно разумею, что кычешь⁶. Ой, еда⁷ почтенен мещанин бродит городом без огня по полуночи аки тать? Мой совет тебе: держи мошну крепче и ступай от мене с богом!

«Господи боже, – подумал про себя пан Броучек, – прононс у него хуже, чем у обыкновенного выпивохи. От пива такого не бывает. Похоже, наше Общество связей с иностранщиной начинает разворачивать свою деятельность. Этот тип, видно, приехал издалека, откуда-нибудь из Боснии или из Далмации – у них тоже такие дурацкие костюмы и ломаный славянский язык».

– И пойду, пойду, только без крику! – сказал он вслух. – Все равно от вас – то есть от тебя – черта лысого добьешься, раз тебя в Прагу принесло невесть откуда. Судя по твоей

⁶ Кычешь – кричишь (*древнерус.*).

⁷ Еда – разве (*древнерус.*).

странной речи и еще более странному (без обиды!) наряду, я заключаю, что ты босняк или далматинец, из тех, что торгуют укусом или ножами или водят медведей.

– Безстыдну лжу глаголеши! – вскричал человек с фонарем. – Аз бо есмь исконен пражский мещенин и верный чех. А вот ты заподлинно бегун иноплеменный, ибо беседа твоя нескладна и порты взору противны.

– Нет, это уж чересчур! – воскликнул пан Броучек. – Если ты в самом деле пражский мещанин, то как тебе не стыдно срамить свое сословие этим тряпьем и глупыми шутками. Или ты рехнулся, и твое место в желтом доме, среди умалишенных.

– Молчи, еромыга⁸ мерзкий! – яростно отвечивал дикарь. – Господом клянусь, ума лишенным мя творити не дозволю, сам сый горшаи безумнаго. Познах бо, кто еси. Ха! Израдца⁹ еси неблагородный, слуга антихристов, лазутник и соглядатай кесаря Зикмунда. Проникл еси в наш град, абы нас выдал! Но бох дасть, ты отселе жив не выйдеш!

Неожиданное обвинение в шпионаже так поразило пана домовладельца, что он позабыл все остальные оскорбления и минуту не мог прийти в себя.

– Что за глупый разговор! – возмутился он наконец. – Я соглядатай? Что за чепуха! Лазутчик кесаря Зикмунда! Какого такого Зикмунда? Отродясь о таком не слыхивал...

⁸ Еромыга – бездельник, негодяй (*древнерус.*).

⁹ Израдца – предатель, изменник (*древнерус.*).

впрочем... нет, правда... читал я что-то... был император Сигизмунд... так это бог весть сколько лет назад – наверное, во времена Жижки!

Теперь настала очередь незнакомца в остолбенении смотреть на пана Броучека.

– Во времена Жижковы! – вскричал он. – Пошто троскочешь несуразное: ан Жижка жив и тамо, на горе на Витковой, со табориты ожидаеть Зикмунда!

– Ха-ха, Жижка жив! Чудно! Да Жижка уже не одну сотню лет лежит в земле, и даже от его кожи, которой табориты после его смерти, говорят, обтянули барабан, не осталось небось ни клочка. Жижка жив! Если б он был жив, у нас бы все сейчас было иначе! У нас, парень, хватило бы работки для его булавы, если бы его сразу же не забрали к святому Вацлаву. Потому что в наши времена, братец, за разрушение замков и сожжение монастырей полагается статья. Ну да ладно, ладно, не морочьте себе голову, приятель! Если бы Жижка был жив, он был бы старше самого Мафусаила. Я, правда, не знаю, когда он родился, но твердо знаю, что он жил еще до Белогорской битвы, а эту дату я случайно помню хорошо: это было в тысяча шестьсот двадцатом году, – ну а сейчас у нас идет год тысяча восемьсот восемьдесят восьмой...

Незнакомец от изумления чуть не уронил фонарь. Он вытаращил на пана Броучека глаза и судорожно выдавил из себя:

– Тысяща... и осемь сот... осьмьдесят... осьмыш? Ха-ха!

Зрю яз, во твоей головушке чтои-то ся неладить. Всяк, имеяй смысл цел и разум здрав, пове трбе, что идеть нам год от рожества Христова тысяча четыре ста двадцатый!...¹⁰

– Тысяча четыреста двадцатый! – воскликнул пан домо-владелец. – Ты что, братец, думаешь, я идиот – или, может, ты сам идиот конченный?

– Обаче, чесо ради ашуть с буим словеса множу!¹¹ – от-ветствовал презрительно незнакомец и быстрым шагом по-шел прочь. Несколько раз он еще обернулся, а потом ускорил шаг и слился с окрестной темнотой, лишь фонарь его еще

¹⁰ Для оживления нашего повествования я привел слова незнакомца с фонарем (в коем пронизательный читатель, по-видимому, уже угадал старинного пражанина XV века) на древнечешском языке – так, как мне продиктовал их по памяти пан Броучек. Ежели что тут не сходится с нашими древнечешскими грамматиками, отнесите это на счет либо недостаточно крепкой памяти пана Броучека, либо неграмматического говорения того стародавнего пражанина, который обращал так же мало внимания на грамматику, как и пражане нынешние. Поэтому напрасно острили вы свои карандаши, господа ученые, вы, которые если и снисходите до нас, несчастных, беллетристов чешских, то делаете это лишь затем, чтобы показать нам бездонное наше невежество. Вам бы хотелось, чтобы ради этих нескольких древнечешских страничек я целый год ходил бы слушать ваши лекции и проштудировал вавилонскую башню манускриптов, инкунабул, грамматик, руководств, монографий, диссертаций и бог знает каких еще вспомогательных материалов. Но я с сокрушением сердца признаю, что меня не влечет к себе подлинная наука и мне больше нравится писать с потолка или как бог на душу положит. Кроме того, у меня есть серьезные опасения, что ежели бы я написал что-нибудь по профессору Н., то профессор Р. тут же бы обнаружил в этом чистую бессмыслицу, и что даже то, в чем сейчас согласны все нынешние знатоки, через десять лет будет отнесено к заблуждениям, давно осужденным, чему примеры нам всем известны.

¹¹ Однако чего ради я с безумным разговариваю? (*древнерус.*)

помигивал в ней подобно блуждающему огню, пока не исчез за поворотом улицы.

Пан Броучек тупо смотрел ему вслед, пока тот не исчез из поля зрения.

– Сумасшедший! – сказал он себе уверенно. – Я мог бы сразу догадаться по тем странным тряпкам, что он на себя напялил. Однако какая удивительная путаница у него в голове! Думать, что сейчас идет год тысяча четыреста двадцатый – дичь какая! Впрочем, ведь есть же, говорят, сумасшедшие, считающие себя папой римским или королем; они носят бумажные короны, видят в камерке с голыми стенами великолепный тронный зал, а в служителях психиатрической больницы – своих министров; так почему бы не быть и безумцу, который перенесся на несколько столетий назад и всю свою жизнь устроил сообразно этой идее? Достал себе театральный костюм из какой-то исторической пьесы рыцарских времен, ходит ночами по улицам с фонарем, поскольку во времена Жижки вряд ли было газовое освещение, и изъясняется на тарабарском наречии, долженствующем изображать древнечешский язык! Смех, да и только! И бедняга думает еще, что я сумасшедший! Я только удивляюсь, как это его пускают бегать по Праге в этом маскарадном костюме, да еще с оружием. Вот несчастье, что я наткнулся именно на такого идиота!

Между тем он шел дальше по улице и уже увидел впереди за углом отблеск какого-то пламени. Он заторопился,

но внезапно с размаху налетел на препятствие и с громким проклятием свалился на землю.

Когда он поднялся и осветил спичкой препятствие, то, похолодев, распознал в нем толстую цепь, натянутую поперек улицы.

– Свет такого не видывал, – неистовствовал он, растирая испачканной рукой ушибленное колено. – Это уже не небрежность, а хулиганство! Цепь через улицу! Это вопиет к небу! И хоть бы какой фонарик привесили – нет, будто нарочно устроили ловушку во тьме кромешной, чтобы налогоплательщики ломали себе руки и ноги. Цепь через улицу! Ну погодите, я вам этой цепью потрясу, так что уши от звону заткнете. Мы еще посмотрим, имеет ли право магистрат за наши кровью и потом заработанные деньги затягивать улицы цепями. И вообще, чем портить себе нервы в этой дыре, я лучше продам дом и буду наслаждаться своим богатством в Вене или в другом приличном месте, где постыдились бы держать улицы на цепи.

Как видим, пан Броучек снова вспомнил про свой клад, что его несколько смягчило.

Он подлез под злополучную цепь и пошел дальше уже осторожнее. Улица здесь резко сворачивала вправо, и в конце ее он увидел яркое зарево огня. Вскоре он различил большой костер, разложенный посреди улицы, и вокруг него фантастические тени многих фигур.

– Гляди-ка! Прямо целое войско метельщиков или золо-

тарей. Наверное, потому и цепь. Что это они затевают? Уж не проводят ли исподтишка эту новую канализацию, о которой столько кричат и пишут, чтобы поднести нам сей приятный сюрприз, как гром среди яс... Ой!

Увлечшись, он снова врезался в нечто, что оказалось толстым брусом, обитым железом. Эту новую неожиданность пан Броучек воспринял лишь с язвительным юмором.

– Мило, очень мило. Мало цепей, теперь и колоды пошли. Наши городские власти полагают, видно, что нам не помешает немножко заняться гимнастикой! Вилимек и Бржезновский, ау! Где вы?

В эту минуту он увидел нечто, что поразило его куда больше. Он заметил странные, увенчанные башней ворота, силуэт которых, частично высвеченный пламенем костра, перекрывал улицу, а по бокам чернела зубчатая крепостная стена. Он твердо знал, что нигде в Старом городе, да и в Праге вообще, нет таких ворот и нет такой стены. Мучительные сомнения охватили его: что, если он и не в Праге вовсе, что, если он пролетел этой чертовой шахтой на ту сторону земного шара, к антиподам?! Если однажды он из «Викарки» вознесся на Луну, разве невозможно ему из этого колдовского помещения провалиться напрямиком в пекло?

Мучительное беспокойство сменилось паническим страхом, когда он остановил свой взгляд на фигурах, сидящих и стоящих вокруг костра. Отсюда он мог уже хорошо их рассмотреть.

Это были по большей части статные и крепко сбитые мужчины свирепого вида, кто в грубых рубахах, кто в пестрых одеждах чудного покроя, а кто в кованых доспехах и железных кольчугах; у некоторых на голове он заметил круглые шлемы, у других шапки на манер тюрбанов или диковинные шляпы, у третьих капюшоны разных цветов, и ужасное это зрелище, озаренное красным отблеском костра, в глазах пана Броучека делалось еще ужаснее присутствием грозного оружия: алебард, протазанов, мечей, палиц с длинными железными шипами, цепов, обитых жестью и утыканных множеством гвоздей...

До этого пан Броучек хоть и гневался на различные пороки городской коммунальной службы, доставившие ему ряд мелких неприятностей, однако из-за этих легких тучек ему все время сияла мысль о будущем его великом богатстве, не допуская, чтобы радостно возбужденное настроение его всерьез и надолго омрачилось. Но теперь это радостное чувство испарилось мгновенно, и душу его объял ужас. С минуту глядел пан домовладелец, застыв неподвижно, глазами, от страха вылезавшими из орбит, на это зловещее сборище. Потом он потихоньку начал отступать, пока не юркнул за угол ближайшей поперечной улочки. Оттуда он еще раз осторожно высунул голову и взглянул на воинское расположение, но тут же поспешил спрятаться: ему вдруг померещилось, что страшная ватага повернула к нему свои грозные лица и схватилась за оружие, готовясь его преследовать.

В отчаянном испуге помчался наш герой от того места и лишь после долгого бега, не слыша за собой шума погони, рухнул без сил на широкую тумбу.

IV

Какое-то время лежал пан Броучек на тумбе в полубес-сознательном состоянии. В голове его роились мысли одна другой невероятнее. Эти здоровенные мужики у ворот и их оружие, особенно цепи – знакомые как музейные экспонаты страшные цепи гуситов – внушили ему дикую идею, что, может, человек с фонарем был все-таки прав и он (пан Броучек) стал внезапно современником Жижки. Причудливая эта мысль находила мощную опору в непонятных воротах с башней, в зубчатой крепостной стене, старинном покрое одежды и невразумительном языке предполагаемого безумца, в отсутствии газового освещения и странном облике улиц, в цепи и колоде и в полной нетронутости драгоценных вещей и живописных полотен в старом королевском доме.

Он изо всех сил сопротивлялся чудовищному предположению. Ему припомнилась легенда о молодом монахе, проспавшем в лесу целых сто лет; белоголовым старцем возвращается он в обитель, где его никто не признает; это сказка, но все же она во сто крат ближе к реальности, чем очутиться в столетии, давным-давно минувшем. Это уж чистая бессмыслица. Не может время остановиться, тем более не может течь назад. И даже если бы время в самом деле отступило на несколько столетий, он в нем никак не мог бы ока-

заться, ибо появился на свет несколько веков спустя. У пана Броучека просто голова кружилась от всей этой чепухи.

Потом ему пришло на ум, что, может, он по дороге от Вюрфеля уснул где-нибудь на тумбе и ему снится необычайно яркий сон. Подземный ход, клад – ах, и клад короля Вацлава! – человек с фонарем и все прочее было лишь причудливым, пестрым сновидением, от которого он теперь пробудился. Но и это толкование долго не продержалось.

Ночная тьма начала понемногу отступать под натиском летнего рассвета. Густая черная завеса превратилась в легкую серебристую вуаль, сквозь которую проглядывали уже не только верхние контуры, но и все основные черты окружающих предметов. И вуаль эта с каждым мгновением становилась прозрачней, сползая с домов все ниже и ниже.

Но то, что открылось пану Броучеку из-под этой дымки, преисполнило его ужасом и отчаянием. Тот, кто прочел описание его путешествия на Луну, помнит, должно быть, то место повествования, где я пишу, что с паном домовладельцем по дороге из кабачка домой случались приступы зрительных галлюцинаций, когда пражские улицы представляли перед ним в причудливом смещении и искажении. Все было перекошено, искривлено, то невероятно вытянуто, то укорочено, иной раз удвоено. Но это было при обманчивом свете месяца и уличных фонарей.

Теперь же он видел подобную картину при трезвом свете дня.

Он видел дома разнообразных размеров и внешнего облика, некоторые даже наполовину деревянные, с громоздкими то очень широкими, то невиданно остроконечными крышами, со множеством различных выступов, арочек, галерей каменных и деревянных, открытых и крытых переходов, кое-где перекинутых высоко от дома к дому, как воздушные мостики; окна самой различной величины и формы, то, как правило, очень маленькие, иные узким щелочкам подобные, а вместо стекол по большей части затянутые пленками или бычьим пузырем; там и сям виднелись железные решетки, чудно переплетенные и всячески изукрашенные, вместо входных дверей – закругленные или островерхие калитки или решетчатые воротца, на стенах домов множество тесаных украшений и фигурок, пестрая роспись, и повсюду торчали из домов железные палки, на которых покачивались то железная перчатка, то чудная шляпа, а то и деревянная прялка или иной какой знак ремесла или же здоровенные железные и деревянные груши, звезды и другие знаки, названия домов обозначающие, – все это, вместе взятое, являло собой картину столь пеструю, разнообразную и удивительную, что пан домовладелец чувствовал себя как в видении Иржика.

Теперь уж у него не оставалось сомнений в том, что с ним снова приключилось нечто необыкновенное – как и в тот раз, когда он случайно зашел, идя с Градчан, на Луну. Но он все еще сопротивлялся предположению, что он забрел в ка-

кое-то там прошлое, откатившись назад без малого на пять столетий. Эта мысль была слишком абсурдна.

Однако он невольно прикинул и эту невозможную ситуацию и сказал себе, что если это действительно стародавняя Прага, то он должен уметь в ней разобраться, поскольку хотя бы площади и главные улицы занимали то же положение, что и теперь.

Пан Броучек осмотрелся внимательно. Он стоял возле маленького углового дома у входа в кривой переулок. Невольно взглянул он на стенку домика, а затем и на дом напротив, ища взглядом название улицы, но, конечно, надписи и в помине не было.

Тогда он повернулся к переулку спиной и посмотрел во все стороны. Слева от переулка находилась небольшая площадь, и здесь, одна к одной, стояли двумя длинными рядами какие-то будки, в которых пан домовладелец по различным вывешенным знакам узнал мясные лавки.

«Если бы я находился в Старом городе, – сказал он себе, – то это могла бы быть Мясная улица; тогда направо мы имели бы Штупартскую, а эта улочка сзади, за моей спиной, была бы Тынская улица – нет, все это чепуха!» Но он все-таки взглянул направо, к предполагаемой Штупартской, ища церковь Св. Якуба. И в самом деле, в той стороне высился какой-то храм, но фасад его был совсем иной.

По сем безрезультатном осмотре наш герой на минуту задумался, что делать. Наконец он решил пойти на авось

улочкой, которую согласно своей гипотезе назвал Тынской. Нужно оглядеться в незнакомом городе: может, что-нибудь и прояснится.

И он пошел по кривому переулку. На правой стороне его внимание сразу же привлек дом с большими, целиком обитыми железом дверьми; за ним по той же стороне шел еще дворик в глубине между другими затиснутыми домами, а дальше... Пан Броучек ахнул: на фасаде следующего дома было вытесано большое тележное колесо, покрашенное красной краской. Поистине поразительное совпадение!

Дело в том, что пан домовладелец очень хорошо знал Тынскую улицу, потому что там жил один его должник, которого он неисчислимо количество раз осчастливливал своим посещением. И всякий раз, проходя по Тынской улице, он замечал дом, называемый «У красного колеса», знак которого очень наглядно был на нем изображен.

– Удивительно, просто удивительно, – бормотал он про себя. – Как если бы это в самом деле была Тынская улица. И повороты ее тоже совпадают... Правда, дома все выглядят иначе – но за пятьсот лет многое могло измениться... Ой, опять мне лезет в голову этот бред!

Но, несмотря на то что пан Броучек отверг эту глупую мысль, он с волнением сердца приближался к концу улочки: увидит ли он там Тынский храм?

Вот улочка кончилась, и... да, величественный Тынский храм действительно возвышался перед ним! Он узнал его,

не колеблясь ни минуты, хотя костел сиял своими украшениями и новизной, как будто стены его были только что возведены. Невольно перевел пан домовладелец взгляд в другую сторону, и снова... да, над сводчатым входом дома был вытесан большой позолоченный перстень, а рядом высились запертые ворота могучего строения, которое хоть и выглядело несколько иначе, чем нынешний Тынский двор, однако явно не могло быть ничем иным.

Пан Броучек пощупал свой лоб. Голова его кружилась. Дом «У колеса», дом «У перстня», Тынский храм – и если сейчас он этой дорогой выйдет на Староместскую площадь...

Его качало, когда он шел по переулку, ведущему вдоль храма. Боковой портал подтверждал тождественность строения с Тынским храмом, хотя был совершенно новый, словно только что вытесанный, без малейшего ущерба или изъяна в богатом обрамлении из тончайших орнаментов и фигур, будто выпиленных из сахара умелой рукой резчика. Направо он увидел ту же узкую улочку, что ведет к Козихе и к Долгой улице. Он прошел на той же стороне дом с неизвестной эмблемой: большой семицветной радугой, а за ним... О боже!

За ним открылась Староместская площадь, и если бы у него были хоть малейшие сомнения, то этот такой знакомый дом, стоящий на углу Тынского переулка, с большим белым колоколом убедил бы его наверняка.

Сам по себе вид Староместской площади еще мог бы возбудить сомнения. Дома, стоящие на ней, выглядели так же

несуразно, как и те, что он видел до сих пор; пожалуй, они были еще более перегружены эркерами, портиками, башенками, пестрой росписью и разнообразными украшениями; посредине не стоял знакомый марианский столп (какие ставят в честь избавления от чумы), но зато на северной стороне площади подымались какие-то строительные леса, а в них большой кол с приделанным к нему железным кругом и свисавшим с него пестрым разодранным штандартом; обе башни Тынского храма хотя и смотрели на площадь, возвышаясь над загораживающими их домами, но выглядели скорее как два могучих столпа, потому что у них отсутствовали верхние части и не было крыши. Но на другой стороне площади поднималась башня ратуши – хотя и с немного иным окончанием – уже в полном своем великолепии и часовня с эркерами. Ратуша имела, разумеется, совсем иной вид, и вместо отсутствующей новой части с галереей до самого переулочка стояли еще четыре дома – из них один, известный ныне под названием Креновский; под ратушей и под этими соседними домами тянулись аркады, в которых виднелись будки и подвальчики каких-то лавок. Но в главных чертах положение, размеры, размещение и соотношение улиц, стекающихся к площади, так полно и точно соответствовали картине нынешней Староместской площади, что, с учетом всех предшествующих наблюдений, пан Броучек не мог дольше сомневаться.

Подавленный, он опустился на каменное сиденье, стояв-

шее за колонной аркады углового дома перед Тынским храмом, напротив дома «У белого колокола». Возможно, он не без умысла приютился в этом укромном месте, ибо, хотя только-только забрезжила ранняя июльская заря, на площади уже появились первые, но не редкие прохожие в живописных средневековых одеждах, а перед ратушей стояла толпа вооруженных людей, произведшая на пана Броучека впечатление ничуть не лучшее, чем ночная стража у ворот.

– Так, значит, все-таки... – соображал несчастный пан Броучек, – все-таки, значит... невозможно – и все-таки. Когда я об этом думаю, мне кажется, у меня лопнет голова. Но что видят мои глаза, что я могу потрогать руками, тому я все-таки должен верить! Вот так, вдруг переметнулся я назад на пару-другую столетий. Я смотрю на дома, которых, собственно, давным-давно уж нет или по крайней мере нет в таком виде; я сижу на скамье, о которой точно знаю, что от нее на этом месте не осталось и следа; я нахожусь среди людей, которые давно уже обратились в прах, но которые тем не менее, живые и здоровые, проходят мимо меня в своих давно истлевших и рассыпавшихся одеждах. А я сам, если сейчас действительно идет тысяча четыреста двадцатый год, не могу быть жив, потому что только через четыреста с лишним лет рожусь – и в то же время я чувствую, что я жив, я знаю совершенно твердо, что вчера, двенадцатого июля 1888 года, я сидел в трактире у Вюрфеля! Такая свистопляска совсем может свести человека с ума! А... а может,

я и вправду сумасшедший? Может, я живу и все время жил во времена Жижки, и у меня самого такая же «идея фикс», в которой я недавно обвинил того человека с фонарем, только наоборот: у меня навязчивая идея, будто я живу на пять столетий вперед. И мой дом был бредом, моя экономка бред, и Вюрфель – бред, все, все – лишь порождение моего большого мозга, фантазия, от которой я сейчас пробуждаюсь... Но все это опять чистейшая чепуха! Ведь вот на мне сюртук от Нерада – вот же этикетка, а Нерад никак не гусит; вот в кармане у меня трамвайный билет – а трамвай у нас в Праге ездит только, то есть начал ездить, тьфу ты, будет ездить – ах, чтоб тебя!..

Пан Броучек в яростном отчаянии бил себя кулаками в лоб, судорожно хохотал и вел себя действительно как безумец.

И нечему удивляться: у автора самого кружится голова от этого переплетения времен, и дух его с тоской ожидает последующих глав, где ему придется исполнять танец среди мечей прошлого и настоящего, в котором он стяжает лишь кровавые шрамы. О, будьте тогда милосердны, господа, вы, считающие чешского писателя жалким негодяем, выставленным у позорного столба, в которого каждый может кидать усмешки и грязь на потеху публике, что лишь позлорадствует: так ему и надо – зачем пишет!

V

– Что зде дееши? Кой еси? – раздался резкий окрик над ухом пребывающего в отчаянии пана домовладельца.

Броучек поднял глаза и невольно встал. Он увидел перед собою высокого статного мужчину с красивым, в окладистой бороде лицом, одетого поистине живописно. На нем была шапка странной формы, длинный синий плащ на алой подкладке, на груди распахнутый, так что под ним был виден плотно облегающий тело черный полукафтан с вышитой на груди алой чашей, ниже на нем было надето что-то, напоминающее короткую, до колен, юбку, – белое, внизу отороченное узкой полоской черного меха. По бедрам шел серебряный кованый пояс с кошелем, привешенным с правой, и длинным мечом – с левой стороны, и, наконец, узкие зеленые штаны и красные башмаки с острыми носами.

– Прошу вас, скажите мне, сейчас у нас в самом деле тысяча четыреста двадцатый год? – вместо ответа спросил пан домовладелец.

– Самозря, – подтвердил мужчина, удивленно взглянув направо и налево. – Но кого ты, кроме мне, вопрошавши, будучи туту со мною сам-друг?

Тут пана Броучека осенило, почему и человек с фонарем при его обращении оглядывался по сторонам: эти дремучие древние чехи не имели ни малейшего представления о веж-

ливом обращении на «вы». В том, что он действительно находился среди древних чехов, сомнений больше не было.

(Надеюсь, я уже достаточно ослепил своим древним языком профанов и всласть подразнил знатоков, и потому читатели извинят меня, если я прочие речи своих средневековых героев перескажу на простом современном нам языке, лишь кое-где слегка приправленном смачным старинным словцом или оборотом.)

– А скажите... скажи мне еще, – спрашивал дальше несчастный пан Броучек, – ты правда то, чем кажешься, ты не бред?

– Бред? Не пойму, что у тебя на уме. Я Ян, именуемый Домшик, а еще называют меня Янек от Колокола – это по дому моему, на коем видишь ты вытесанное изображение колокола.

Пан Броучек подумал, что домовладельцу мало пристало одеваться по-рыцарски и носить на боку такой здоровенный вертел, но утешением для него было, что он по крайней мере встретил порядочного человека, коллегу, а не какого-то там задрипанного квартиранта.

Зато средневековый домовладелец разглядывал пана Броучека с явным недоверием.

– Но кто же ты? – продолжал он резко. – Наверняка чужеземец... а может, и... – Глаза Домшика грозно блеснули.

– Э, никакой я не чужеземец! – обиделся пан Броучек. – Я чех, и пражанин к тому же.

– Лжешь. Ты и говоришь-то по-чешски так, что срам слушать, а твое мерзкое портище не надел бы ни один честной пражанин.

Пан Броучек скрепя сердце проглотил обиду – подумать только, мужчина в пестром карнавальном одеянии, которого постыдился бы любой образованный человек девятнадцатого столетия, смеет столь презрительно отзываться о его солидном современном костюме. Но он понял, что прежде всего нужно отвести от себя подозрения древнечешского коллеги, который, пожалуй, считает его шпионом. Что сказать? Если сказать правду о том, откуда он пришел, тот увидит в его словах лишь неумную шутку или речи безумца и сразу отправит его в сумасшедший дом, а пан Броучек слышал о средневековых «желтых домах» ужасные вещи. Наконец ему пришлось на ум более или менее правдоподобное объяснение.

– Понимаете – понимаешь, дружище, – начал он неуверенно, – я давно не был в Чехии – мотался по свету...

– Видно, давненько ты покинул родные края?

– Давненько, – плел дальше пан Броучек. – Я тогда... был совсем мальчиком...

– А как это случилось?

– Как? Как? Хм-хм, ну как это случается: комедианты – бродячие комедианты украли меня и увезли.

Пан домовладелец аж побагровел, произнося слова этой унижительной лжи, к которой ему пришлось прибегнуть

за неимением лучшего выбора.

– Бродяги, говоришь, тебя увезли? И ты все был в иных землях? А пошто приходишь ныне? – продолжал допытываться Янек от Колокола.

– Пошто, пошто? Ну, знаешь, небось взгрустнулось на старости лет. Как это в старой пословице? Всюду хорошо, а дома лучше.

– А правду говоришь? – вскричал Домшик, глядя ему пристально в глаза. – Ты истинный чех? Не лазутник из войска Зикмундова?

Вместо ответа пан Броучек торжественно поднял три пальца к небесам. В этих двух вещах он мог поклясться с чистой совестью.

Древний чех был, по-видимому, удовлетворен и спросил его уже любезнее:

– Тебя как зовут?

– Матей Броучек.

– Бурчок? Это что, прозвище такое, что дали тебе бродяги? Ты не знаешь ли, как звался твой отец и кем он был?

С горестью вынужден был пан Броучек отречься от своего отца и оставить на своем почтенном имени клеймо комедиантского прозвища, чтобы Янеку не пришло на ум искать его родню, из чего могли бы произойти новые осложнения.

– И ты только сейчас вошел в город? – снова стал допытываться Домшик.

– Да, собственно, вчера...

– Верно, поздно вечером? Потому что при свете дня ты не прошел бы в этой одежде через ворота. Ты пришел небось через Конские или Свиные?

Пан домовладелец взглянул исподлобья на спрашивающего, уж не хочет ли тот его оскорбить, но Янек от Колокола вполне серьезно пояснил, что и те и другие ворота менее всего охраняются, поскольку с южной стороны нет неприятеля.

Броучек с благодарностью подумал о наших нынешних комиссиях по переименованию улиц, но тут же заволновался, осознав слова Домшика насчет неприятеля.

– Как так – на южной стороне нет неприятеля? – сказал он. – Боже ты мой, значит, Прага осаждена?

– Да как же это? Возможно ли, что ты не ведаешь об огромном войске крестоносцев, собранном из всех племен и народов света, с коим Зикмунд уже две недели стоит перед Прагой на северной стороне, от пражского Града до самых Голешовиц?¹²

Только теперь понял пан Броучек обвинение в шпионаже и тяжело вздохнул в душе, сказав себе так: «Вот! Только этого еще и не хватало! Мало того что леший занес меня в стародавнюю Прагу, так сие должно было случиться именно в такой момент, когда ее обложил проклятуший Зикмунд! Теперь ко всему прочему прибавится обстрел из тяжелых пушек, а насчет пищи хорошо, если разживешься куском кони-

¹² Голешовице – в XV веке – селение близ Праги. В настоящее время – один из промышленных районов города.

ны, не то придется довольствоваться чем-нибудь и похуже!»

Домшик между тем продолжал свое объяснение:

– Мы хоть и не запираем ворот, однако стережем их усердно и в городе примечаем всех подозрительных, которых люди, специально на то поставленные, строго допрашивают и вон из города выдворяют. От них бы ты при свете дня не ушел. Ты где стоишь?

– Нигде. Всю ночь бродил по улицам.

– И не повстречал рихтаря с коншелами?¹³

– Какого рихтаря? С какими коншелами?

– Да что ходят с девками...

Янек от Колокола сказал, собственно, «с древками», но пану Броучеку, не искушенному в старинном произношении, слышалось «с девками», из чего возникло маленькое недоразумение, которое разрешилось, лишь когда Домшик повторил отчетливо сомнительное слово, чем и развеял высоконравственное негодование пана Броучека.

– С древками посеребренными, знаком их власти. Чтоб тебе было ведомо: у нас издавна действует закон: после того как под вечер пробьет колокол на ратуше, никто не смеет ходить по улицам без огня, если не хочет быть взят под стражу и подвергнут наказанию рихтарем или его помощником, который в ночное время обходит со своими бирючами город. Ежели потребно, идут с ним также несколько коншелов или еще кто из магистрата. И ныне исправно ходят они

¹³ Коншел – член магистрата.

ночным дозором, хотя, кроме них, несут службу двенадцать гейтманов: восемь выборных от нас, пражан, а четверо – от таборитов и окрестных жителей; гейтманы те заправляют делами воинскими и прежде всего пекутся об охране ворот и стен города. Просто чудо, как ты сумел попасть в город в таком подозрительном наряде да еще целую ночь по улицам пробродил, не столкнувшись с ночной стражей.

Теперь пан Броучек понял, почему ночной прохожий нес фонарь и почему не замедлил извлечь оружие: наверняка он заподозрил в пане домовладельце, идущем без огня, преступные намерения.

«Да, веселенькая жизнь в этой старой Праге! – подумал наш герой. – Только одним глазком заглянул я сюда, а уже начинаю сожалеть о каждом слове, сказанном против наших городских властей. О, золотая Прага девятнадцатого столетия! Как представляю, что мне приходилось бы всякий раз, идя к «Петуху» или на Градчаны, таскаться с фонарем и потом каждому объяснять, освещая свою фигуру, откуда я иду и когда ворочусь домой! А ежели б я его где-нибудь потерял, то проснулся бы в каталажке. И хороши были бы оживленные улицы по ночам, когда б в них роились и перемигивались эдакие светлячки и болотные огни!»

– А пошто ты не стал постоем в какой-нибудь корчме? Деньги есть у тебя? – спросил древнечешский мещанин.

Броучек не сразу нашелся, что ответить. Вопрос напомнил ему о новых трудностях. В его кошельке было немно-

го денег, но употребить их здесь можно, пожалуй, с тем же успехом, как и на Луне. Нет сомнения, что гуситы не пожелают понимать ни по-немецки, ни по-венгерски. А тут он еще вспомнил о недавно обнаруженном кладе. Ах, боже ты мой, в безумном беге от ворот он совсем не примечал улиц, и кто знает, найдет ли он снова дверцу с птичками в безбожной путанице и пестроте старинных домов? И даже если найдет, кто знает, сумеет ли он в другой раз пробиться к кладу, который, наверное, вовсе не оставлен и не забыт, а принадлежит или, может, еще живому королю Вацлаву, или другому средневековому богачу, укрывшему его там в эти бурные гуситские времена. И наконец, какой прок ему от богатства в осажденном городе, откуда он будет счастлив просто унести ноги? Ах, с радостью пожертвовал бы он всеми этими сокровищами, лишь бы из дикого средневековья попасть обратно в благоустроенную, культурную Прагу наших дней! Клад короля Вацлава был только чудным сном, сверкнувшим ему на миг лишь для того, чтоб еще горестнее было пробуждение.

Подлинное страдание дрожало в голосе пана домовладельца, когда он наконец ответил:

– Есть у меня кое-какая малость, но эти деньги тут никто не примет. Я нищий, совершенный нищий.

– Так вот причина твоего отчаяния, кое ты изливал перед моими окнами? – с состраданием молвил Домшик. – Утешься, друже. Все пойдет на лад. А пока будь моим гостем.

Но вдруг он остановился, словно вспомнил что-то важное,

и голос его опять зазвучал строже:

– Но послушай, Матей, ты подобой?

– Подобой? – повторил пан Броучек удивленно, не понимая смысла вопроса.

– Ты приобщаешься обоими видами? – пояснил Янек от Колокола.

– Обоими видами? – снова повторил пан домовладелец и потер себе лоб; он не понимал ничего.

– Ты что, не разумеешь? – воскликнул Домшик уже нетерпеливо. – Я вопрошаю тебя, комкаешь ли ты также и вино?

– Ах, вот оно что! – с улыбкой облегчения вздохнул пан Броучек, полагая, что наконец-то понял и что вопрос Янека как-то связан с гостеприимством, им ранее предложенным. Про себя же подумал, что древний способ выражения донельзя витиеват: сколько потребовалось экивоков для того, чтобы просто узнать, пьет ли он вино. А вслух отвечивал весело:

– Само собой разумеется, что я подобой. Подобой – ха-ха! – отличная штука! Ну как не вкушать вина, приятель; но сказать по правде, хорошее пиво я ставлю еще выше.

Домшик попятился почти в испуге и предостерегающе вытянул руку:

– Остановись, кошунственный язык! Хочешь насмешки строить над святой верой нашей? – Но он тут же опомнился и продолжал спокойнее: – Верно, ты говорил, что с малых лет пребывал в чужих краях; может, того ради не ведаешь

о правде божьей, магистром Яном Гусом, Иеронимом, Якубеком из Стршибра и другими учителями нам возвещенной. Но ты наверняка слышал, что оба святых мученика наших жестоко казнены в Констанце папой, епископами и прочими князьями антихриста.

– Об этом я и правда что-то слышал и читал. Но почему, собственно, сожгли Гуса, не знаю толком. Что-то они там не поделили с господами патерами. Вискочил как-то заметил, что Гус-де был вероотступник...

– Гус – вероотступник? – вскрикнул громовым голосом Домшик, дико засверкав глазами и ухватившись за рукоять своего меча. – Это Гус-то, который нам проповедал истинное слово божие, который хотел очистить церковь от греха, и заблуждения, и от изобретений человеческого лукавства и вернуть ей исконную чистоту первых апостолов, Гус, который клеймил гордыню, алчность и безнравственность дурных священников, пока их злобная мстительность не добилась его осуждения и казни на вечный позор земле нашей и имени нашему, – так это Гуса называешь ты вероотступником, богохульник презренный?

При этом он наступал на Броучека, скрипя зубами и держа рукоять меча, так что тот, дрожа всем телом, боязливо отступал и бормотал, заикаясь:

– Так это же не я говорю, что Гус вероотступник, это как-то раз Вискочил за пивом сказал, ввязавшись в спор с Клапзубой, которого мы шутя иногда называем гуситом... А Вис-

кочил портной, он работает в семинарии, так что, само собой, должен быть клерикалом, если кормится от сутан. А я – я ничего не имею против Гуса; я «У петуха» всегда сижу под его портретом.

Хотя Домшик понял лишь отчасти это объяснение, все же его гнев был укрощен. Он снял руку с меча и быстро спросил:

– Так ты желаешь отказаться от заблуждений папистов и стать приверженцем учения Гуса?

Это был щекотливый вопрос. Пан Броучек в растерянности молчал, почесывая за ухом.

«Хорошенькая история! – говорил он себе. – Отродясь я в религию не вдавался, вот и попал впросак. Стать гуситом – благодарю покорно. Таким гуситом, о котором как-то в шутку говорил в своей речи в ратуше доктор Ригер, – охотником до архиерейского носа, румяного и с сочной капусткой, – таким я согласен быть от всей души, хотя бы до дня святого Мартина. Но чтобы я, это самое... какие-то шутки с верой – против господ патеров да еще, может, с железным цепом в гвоздиках, – ни-ни, покорнейше благодарю. Я, собственно, даже не знаю, какая у этих людей была религия... Слышал только, что с иноверцами они особенно не церемонились». И мороз пробежал у него по коже, когда он вспомнил кое-какие случаи, о которых ранее слышал или читал.

Тем временем Янек от Колокола бросал нетерпеливые взгляды на пребывающего в нерешительности Броучека и,

не дождавшись ответа, продолжал голосом, опять ставшим неприветливым:

– Сдается мне, ты не спешишь склонить сердце свое к чистой вере нашей и предпочитаешь коснеть в заблуждениях. Коль так, то покинь скорее город, потому что католики нам в Праге не нужны. Я сам выведу тебя за ворота, ибо легко может случиться, что один живым ты отсюда не выберешься. Впрочем, и по ту сторону ворот радости тебе будет мало. Столкнешься с немецкими крестоносцами – жестоко поплачешься, ибо они без милосердия сжигают каждого чеха, попадающего к ним в руки, не спрашивая, гусит он или католик.

Такая перспектива произвела на Броучека должное впечатление.

– Но я же не говорю, – произнес пан домовладелец в смертной тоске, – что я против вашей веры. Я также думаю, что Гуса нельзя было вот так, сразу сжигать, и вообще вся эта инквизиция – безобразие.

– И ты согласен стать подобоем? Ты согласен вкушать тело и кровь Господа нашего в виде хлеба и вина, как это установил Христос на Тайной вечере и как это делали апостолы и первые христиане?

– Почему бы мне не делать то, что делали апостолы? Греха в том быть не может.

Это софистическое оправдание не очень успокоило душу пана Броучека, но про себя он добавил:

«До причастия еще далеко!»

Янек от Колокола был вполне доволен таким ответом. Недоверие исчезло с его лица, взор приветливо засиял, и правая рука дружески протянулась к пану Броучеку.

– Ну, Матей, приветствую тебя как дорогого гостя! Ты наш человек и вместе с нами будешь защищать свободу нашей веры. Войди со мною в дом мой; позднее я изложу тебе подробно учение наших магистров... Ты, наверное, хочешь спать, проблуждав целую ночь?

– Признáюсь, я действительно с удовольствием бы вздремнул часок-другой.

– Поспишь у меня. Идем!

Он повел пана Броучека к своему дому, который стоял, как уже было сказано, напротив, немного в глубине, образуя второй угол Тынской улицы и площади, и который стоит на том же месте по сей день, немножко перестроенный, но по-прежнему несущий свой старинный знак колокола.

Этажей в нем было не четыре, а только три, и крыша была высокая, сбегаящая под тупым углом, как завершение башни – по-моему, она есть у Саделера на одном из изображений старой Праги.

Через сводчатые двери с каменными сиденьями по бокам они вошли в просторные, но мрачноватого вида сени, а оттуда по узкой каменной лестнице поднялись в другую прихожую, на втором этаже, где полы были выложены из кирпича и где стояло несколько громоздких кованых и расписных

сундуков, грубо сколоченный шкаф и простой стол с лавками; во всех стенах были двери, ведущие в другие комнаты, – две из них были заперты толстыми болтами, прочие имели замки или щеколды.

– Вот мое зало, – проговорил древнечешский домовладелец.

Гость взглянул на него с усмешкой.

– Ты пошто смеешься? – спросил Домшик, чувствуя себя уязвленным. – Или этот покой кажется тебе мал и худ? Оно, конечно, я не могу иметь такое, как у вдовы Микулаша Настойте – вон напротив через площадь, в бывшем Крестовском доме, принадлежащем к домам в Праге самым дорогостоящим. Но мне этот покой вполне достаточен.

– И он очень мил, – принужденно похвалил гость. – Я улыбнулся только тому, что ты называешь его «залом».

– А что, разве подобные покои не так называются? А, понимаю. Ты, наверное, знаешь только иноземное слово – немецкое, «мазгауз». Конечно, лучше всего было бы говорить попросту – большие или верхние сени.

«Превосходно, – сказал себе пан Броучек, – эдак каждый батрак мог бы считать, что живет по-княжески! Мужичкие, кирпичом мощенные сени со старой крестьянской рухлядью они именуют залом! Хотел бы я знать, как же они называют тогда приличное помещение?»

– Моя жена и дочь еще не одеты, – сказал Янек. – Поэтому я провожу тебя сразу же в заднюю каморку, что служит у нас

комнатой для гостей.

Через мазгауз он вывел гостя на деревянную галерею, из которой открывался вид во дворик. Гость удивился тому, что он выглядит совсем как деревенский. Там были различные стойла, хлевушки, загончики для птицы; на куче навоза нежились хряки; по мусору прохаживался статный паша-петух, окруженный многочисленным гаремом курочек; в сторонке распускал свое пышное опахало горделивый павлин, и его глазастые перья переливались всеми цветами радуги в раннем утреннем солнце.

Такое устройство пан Броучек не мог не похвалить в душе и искренне позавидовал древнечешским домовладельцам, что так свободно могут они распоряжаться своим двором, который в чопорном девятнадцатом столетии превратился для пражских хозяев в предмет чистейшей роскоши.

Дойдя до конца галереи, Домшик открыл деревянную задвижку грубо сколоченной двери, окрашенной желтой глиной («Хорошенький вход в комнату для гостей!» – подумал про себя пан Броучек), и жестом пригласил гостя войти в «каморку» – небольшую и не особенно светлую сводчатую комнатку, также с кирпичными полами, однако по нижней части стен обитую деревянными панелями и полную различных непонятных предметов мебелировки.

«Да, вот уж подлинно комната для гостей, – сказал себе разочарованный пан Броучек. – Даже пола порядочного нет – кирпич, как в простом деревенском заезжем дворе!

А в окне – боже ты мой – в самом деле: в окне ни стеклышка, все заклеено какой-то промасленной бумагой! Как ему не стыдно! И это комната для гостей владельца трехэтажного дома!»

Мебель тоже произвела на пана Броучека впечатление неблагоприятное. Опять какой-то крестьянский расписной сундук, некрашенная низкая лавка допотопного вида, странные глиняные миски на полке и, наконец, два предмета, которые нельзя не описать во всех подробностях.

Один из них напоминал огромную клеть в строительных лесах, вздымающуюся к самому потолку. Внизу же был длинный и широкий постамент с рядом выдвижных ящичков, один над другим; над этим постаментом по четырем углам возвышались четыре колонки, несущие в вышине нечто вроде крыши с широким карнизом и зубчатым навершием – все это из дерева, раскрашенное и с резьбой. От зубчатого верха спускались вниз присборенные цветные занавески, передняя была откинута и открывала взору горой наваленные двуцветные в полосочку перины и подушки. Ложе было так высоко, что к нему вела приступочка о трех больших ступеньках¹⁴.

¹⁴ Нет необходимости напоминать читателю, сколь важны эти и последующие сведения пана Броучека о быте древних чехов для истории нашей культуры. Особого внимания заслуживает лишь тот факт, что эти сообщения очевидца во многих моментах удивительно совпадают со сведениями, сообщаемыми в книге, только что оконченной печатью и, по-видимому, уже вышедшей в свет, «В старинной комнате горожанина» Зикмунда Винтера с иллюстрациями Гануша Швайгера (издатель Алоис Визнер), что свидетельствует об основательности работы автора. Поскольку пан Броучек, находясь в критическом положении,

– Здесь ты можешь отдохнуть, – произнес хозяин, указывая на чудовищное ложе.

– Как же, полезу я под потолок! – раздраженно вырвалось у пана Броучека. – Чтобы во сне свалиться и сломать себе шею! Тут задохнешься в этой вавилонской башне из перин, а ведь лето же! Нет, братец, чем лезть на этот чердак, я лучше уж на полу улягусь.

– На полу тебе, пожалуй, будет неудобно, – спокойно сказал Янек от Колокола («Пожалуй! Хорош хозяин!» – недовольно подумал гость) и подвел пана Броучека к нише, где стояла другая постель, поменьше и без постамента, но тоже с колонками, пологом и занавесочками. – Не нравится тебе большой одр, вот постеля попроще. Тут ты хорошо выспишься. Белье все доброе; простыня из батиста, чистая, перины, верхняя и нижняя, мягкие, подушка пуховая, наволочки недавно поменянные. Ежели свет мешать будет, задерни завесы. А не хочешь периной укрываться, одеялом оденься или ляг в платье уличном. Однако, поспавши, следует тебе переодеться, – добавил он. – В своем ужасном портище ты не можешь выйти на люди. Есть у меня полученное в наследство платье – знать, придется тебе впору. Ему, правда, почти сорок лет.

– Сорок лет! – ужаснулся гость. – Представляю, какой

не мог заниматься детальными археологическими изысканиями и потому кое-что не заметил или не запомнил, я рекомендую вышеупомянутую книгу всем, кто хотел бы более подробно познакомиться с древнечешским городским бытом. – *Примечание ко второму изданию*; эта книга действительно вышла в 1889 году.

у него вид, его небось и старьевщик даром не возьмет.

– Оно еще хорошее, почти как новое.

– Ты шутишь? Ваши сукна должны тогда быть как железные, а ваши портные умирать с голоду.

– О, нашим портным живется неплохо. Сорок лет – не так уж много. А это платье долгие годы лежало в сундуке. Там есть капюшон, плащ, кафтан, штаны. И юбку тебе какую-нибудь найдем...

– Юбку?! – испугался пан Броучек. – Что это тебе пришло в голову? Уж не хочешь ли ты обрядить меня бабой?

Домшик в удивлении широко раскрыл на гостя глаза.

Но тот продолжал энергично отнекиваться:

– Нет, дружище, с юбкой оставь меня в покое. Если уж суждено мне ходить ряженым, что делать, значит, так бог велел, но юбку ты на меня, милый друг, не нацепишь. Да я сквозь землю провалюсь со стыда, если кто из моих знакомых узнает, что я, Броучек, пражский домовладелец, ходил в юбке!

– Что такое ты говоришь? Стыдно ходить в юбке, какую ты видишь на мне и какие носят все приличные мужчины?

– Ах... так вы это называете юбкой? А я думал, ты имеешь в виду...

– Женскую юбку? Скажи мне, где ты бродил, что даже не слышал о мужских юбках? Ведь их носят и в Германии, и во Франции, и в других землях. Почтенный человек стыдился бы ходить без юбки, как ты, просто в штанах!

– Ну, для меня это поистине новость, что кто-то может стыдиться ходить в брюках. Но что делать! Если так суждено, так я надену на себя то, что называете юбкой; только скажу тебе откровенно, что и эта мужская юбка не очень-то пристала мужчине.

– Не буду с тобой спорить. Всяк кулик свое болото хвалит. Оставим же праздные речи. Я сейчас принесу тебе вещи. Не голоден ли ты? Не хочешь ли утолить жажду?

– Благодарствую, пока что нет. Хочется мне только спать.

Хозяин дома вышел, предоставив гостя невеселым размышлениям о том, как он будет на старости лет ходить, одетый как ряженный. Его одолевала сонливость, давали себя знать напряжение и беспокойства минувшей бессонной ночи, и его горестные мысли все время прерывала зевота. Голова шла кругом.

Вскоре вернулся Домшик с одеждой; кладя ее на сундук, он сказал:

– Думаю, это платье будет тебе под стать. Оно сшито немного по старой моде. Штаны тогда носили двуцветные: одна колоша зеленая, другая красная.

– Господи боже ты мой! – Пан Броучек даже всплеснул руками. – Покорно благодарю. Послушай, приятель, я думаю, будет лучше, если ты оставишь свое прекрасное платье себе, а я останусь при своем.

– Если ты непременно так хочешь, пожалуйста. Но говорю тебе: в своих портах ты будешь посмешищем в глазах все-

го города. Особенно же наши помощники из окрестных селений, хулители всех необычных нарядов, – ибо это суета сует – встретят тебя с враждою: ведь понадобился строгий приказ Жижки, дабы табориты на улицах Праги не обрезали встречным мужчинам бороды, а девицам косы, не срывали с женщин покрывала. Ну и, кроме того, как тебе уже ведомо, у нас берут под стражу всех подозрительных: если тебя увидят в этом мерзком наряде другие люди, ты вряд ли их убедишь, как меня, что ты не инородец какой из табора Зикмундова там, за рекой.

– Ну что ж, делайте со мной что хотите. – Пан Броучек со вздохом покорился своей участи.

– Еще я тебе окошко подниму, а то вроде бы душно здесь, – предложил услужливый хозяин: толкнул верхнюю часть залепленного бумагой окна вверх. Поскольку дверь оставалась открытой, гость, успевший снять с себя сюртук, оказался на пути мощного потока воздуха, который в этот рассветный час был, несмотря на летнюю пору, довольно свеж и даже резок.

Мы знаем, что пан Броучек последнее время очень бережет свое здоровье, и потому пойдем то беспокойство, с которым он воскликнул:

– Бога ради, что ты делаешь, дружище? На этом сквозняке я как раз подцеплю насморк.

– На сквазнике? Что это такое?

– Господи, он не знает, что такое сквозняк! Разве ты

не чувствуешь, как тянет?

– Что тянет?

– Пожалуйста, не делай из меня дурака. Что тянет? Воздух тянет. И дует сегодня так сильно, что вполне можно захворать.

– Вот оно что, ты боишься воздуха?! – изумился и захохотал Домшик. – Ей-ей, сколько лет живу, никогда не слышал, чтобы кто-нибудь боялся чистого божьего воздуха, тем более утреннего раннего ветерка, особенно летом приятного. Ну, не желаешь, так пусть будет по-твоему.

И, качая головой, опустил раму.

Пан Броучек между тем сокрушался про себя: «И куда тебя занесло, Матей! В этом непросвещенном столетии они даже не знают, что такое сквозняк! Если и в наши времена у меня сплошные столкновения из-за сквозняков, то что я буду делать здесь? Счастье еще, что вчера я не забыл заткнуть уши хлопчатой бумагой».

– Спи спокойно, Матей! – откланялся хозяин.

– Благодарю, Янек! – отрезал гость, делая особый упор на этом простецком «Янек».

– Каков привет, таков ответ, – заворчал он себе под нос, когда Домшик удалился. – Ну и манеры! «Матей!» «Янек!» Чудное обращение к домовладельцу! «Янек!» У нас так даже к лошади не обращаются, не то что к владельцу четырехэтажного дома. Это мне в наказание за то, что я хвалил старые времена. Что может быть лучше нашего просвещенного

девятнадцатого века?

Он еще более утвердился в своем мнении, когда ему пришлось снимать штиблеты, скovyривая их друг об дружку.

– Даже «разувайки» для обуви нет, – ворчал он, – а еще называют это комнатой для гостей!

Разуваясь, пан Броучек заметил, что один ботинок очень пострадал: каблук и часть подметки были наполовину оторваны от верха. Без сомнения, результат столкновения с камнями в подземном коридоре и бега по распрекрасным гуситским мостовым. Придется отдать штиблету в ремонт, а самому ходить бог знает в каких древнечешских бахилах.

Он взглянул еще на часы: они показывали полвторого. Еще бы им показывать верно часы и минуты, когда само Время рехнулось и отстало на пять столетий. Поскольку солнце в июле встает около четырех, пан Броучек рассудил, что сейчас должно быть примерно половина пятого.

Полураздетый, он лег на постель и скоро уснул. Последняя мысль, пробившаяся сквозь бурный рой недавних впечатлений, была страстной мольбой о том, чтобы пробудиться на своей удобной постели в своей уютной спальне и обнаружить, что все путешествие в средние века было лишь дурным сном!

VI

Почти четырехчасовой сон чудесно освежил пана Броучека.

Он живо вскочил с постели и посмотрел вокруг. Увидев вместо приветливых стен своей спальни с изображениями одалиски и Неаполитанского залива унылые стены средневековой комнаты, он нахмурился, но тут же бодро вошел в свою новую роль, чувствуя себя теперь более готовым к борьбе.

«Вернулся же я с Луны, – закончил он цепочку рассуждений, которыми пытался себя приободрить, – выберусь и отсюда. Как-нибудь пробьюсь через эту гуситскую заваруху. В конце концов, что тут со мной может случиться? Ведь я-то знаю, что через несколько столетий я жил – то есть буду жить через несколько столетий – или, собственно, что я... Ох, да что я себе голову морочу!»

В это время взгляд его упал на пеструю кучу одежды, лежащую на сундуке.

– А вот и наш святочный наряд! – горько пошутил он. – Однако что делать – надо влезать. Янек прав. По одежке протягивай ножки. Ну-ка поглядим, что нам бог послал?

Запустив руку в пеструю смесь, он извлек из нее штаны.

– И правда, ей-ей! – воскликнул он с кислым смехом. – В самом деле, одна «колоша» как кровь, а другая – как бар-

винок. Ай-яй-яй! Вот красота, чтоб им пусто было! А потом будут говорить, что в старину чехи были мудрые и рассудительные. Вот нам и рассудительность! Половина красная, половина зеленая! И это должен напяливать на себя серьезный человек и пражский мещанин. И это...

Он яростно швырнул штаны на пол.

Потом из пестрой кучи на сундуке был извлечен желтый кафтанчик, а за ним что-то большое, лиловое, и он никак не мог сообразить, что с этим делать. Повертев загадочный предмет в руках и так и эдак, и все безрезультатно, пан Броучек в сердцах бросил его на сундук и снова взялся за штаны.

С отчаянной решимостью начал он их на себя натягивать. Дело шло туго в полном смысле слова, и он не раз послал к черту их неудобный покрой, ибо книзу штанины превращались в сущие дудочки. Наконец его труды увенчались успехом; только штаны оказались ему до того в обтяжку – как трико, – что при каждом движении он опасался, как бы они не лопнули. Но, по-видимому, они были изготовлены из ткани весьма прочной и, несмотря на почтенный возраст, отлично сохранившейся. Пан Броучек с судорожным смехом оглядел свой красно-зеленый постамент и зло сплюнул.

Теперь он пустился на поиски туалетных принадлежностей. Попутно он вновь подверг иронической критике гигантское ложе с лесенкой, громоздкий сундук и лавку, окна, заклеенные пленкой, равно как и глиняные енды на полке, воздав честь их более чем смелым формам многократно по-

вторенными «ай-яй-яй» и «черт-те что».

В неглубокой нише он обнаружил простой железный подсвечник с огарком сальной свечи («В комнате для гостей!» – сердито проворчал он), громадные щипцы для снятия нагара, а затем и предмет, в котором он сначала признал песочницу, но вскоре понял свою ошибку, припомнив песочные часы на изображениях Духа Времени.

– И как попадает сюда подобная чепуха, бог знает, – ворчал он. – Лучше бы вспомнили о настоящих часах!

Длинный кусок белой ткани с вышитыми на ней яркими цветами и птицами, что висел у дверей на рогулине, украшенной с двух сторон смешными фигурками, завершил перечень предметов, находившихся в горнице.

Никаких следов туалетного столика. И даже зеркала нет.

«Вот образцовый гостиничный номер!» – подытожил Броучек еще раз свои впечатления и вышел из комнаты, чтобы раздобыть хоть воды для умывания. С галереи он заметил внизу, на дворике, среди домашней птицы сгорбленную морщинистую старуху, так диковинно закутанную в пестрые средневековые одежды, что ему невольно припомнилась Баба-яга из сказки.

Пан Броучек даже струхнул, на нее глядя, и сказал себе: «Такая колдунья с утра – не к добру!» Но вслух крикнул вниз:

– Эй, бабуся, дайте какой-нибудь умывальник, или рукомойник, или как там это на вашем древнем языке называется-

ся!

Старуха вытаращила на него глаза и с минуту стояла в оцепенении, глядя вверх, потом всплеснула над головой сухими руками и торопливо заковыляла в дом.

Вскоре на галерее появился Домшик.

Протягивая Броучеку руку, он сказал сердечно:

– Хорошо поспал? Наша старая служанка Кедрута, не зная о твоём прибытии, прибежала в дом вне себя от страха: мол, какой-то варвар выкрикивал ей с галереи странные слова. Что тебе угодно?

– Я хотел бы умыться.

– Я тотчас пришлю тебе коноб с водой, а рукотерть висит на верее в каморке. Если желаешь, пришлю тебе и гребень или чесало...

– Че-са-ло? Для чего?

– Для головы.

– Чесало для головы!

Пан Броучек молитвенно сложил руки и возвел очи горе.

Ему страстно хотелось ещё что-нибудь крикнуть, но он сдержался и только сказал сухо:

– Благодарю. Кроме воды, я ни в чём не нуждаюсь.

Хозяин вышел, а гость, возвращаясь в свою спальню, несколько раз повторил:

– Чесало для головы!

Из карманчика своего жилета, лежавшего на лавке, он извлек элегантную щеточку для волос с расчесочкой и зеркаль-

цем и, глядя на них почти с нежностью, прошептал:

– Золотое мое девятнадцатое столетье! Не будь со мной этих вещей, мне пришлось бы причесываться помелом! Правда, он сказал, что есть и гребень. Представляю себе – наверное, не гребень, а скребница для коня, и скребется ею небось весь дом.

Вынув из своих карманов остальные мелочи, в частности часы с цепочкой, бумажник, ножик, ключ от квартиры, коробок с остатками спичек и наполовину выкуренную «короткую» сигару (пан домовладелец – впрочем, отнюдь не заядлый курильщик – в знак протеста против недавнего повышения цен на сигары перешел с «порто-рико» на «короткие»), он выложил все это на подоконнике.

Он еще рассматривал содержимое своих карманов, когда в каморку вошла Кедрута, неся в худых, жилистых руках большой бесформенный жестяной таз с водой.

Она вступила опасливо, словно тень, и, волоча ноги, пошла через комнату, робко поглядывая из-под морщинистого, смешно повязанного лба в сторону окна, где стоял пан Бручек, и костлявые руки ее так дрожали, что вода выплескивалась через край. Она поставила таз на сундук и так же крадучись пошла обратно к дверям, то и дело испуганно оглядываясь на пана домовладельца, будто опасаясь, что тот вдруг прыгнет на нее сзади. Но и он искоса следил за движениями странного существа, пока горбунья не скрылась за дверьми, после чего отвел душу, воскликнув:

– Вот страшилище!

Подойдя к тазу, он увидел, что старуха положила около него с одной стороны кусок простого серого мыла, а с другой, какую-то прямоугольную жестяную пластинку.

– Черт, что б это могло быть? – недоумевал он, вертя странный предмет в руках. – Может, чесало для языка?

Наконец он заметил, что одна сторона пластинки гладко отполирована и в ней смутно отражается его удивленное лицо.

Он приложил указательный палец к носу и насмешливо присвистнул:

– Поди ж ты, да ведь это зеркало! Древнечешское трюмо! Вот уж что верно, то верно: где нам до гуситской элегантности и блеска! Мыло тоже больше подходит для мытья полов, а не человеку для умывания.

Но когда он все-таки умылся и причесался, пользуясь своими современными вещами, к нему вернулось прежнее благодушное настроение.

Теперь настала пора утренней сигары. Он зажег остаток «короткой» и спокойно выпускал голубые облачка благовонного дыма – если для этого сорта подходят привычные эпитеты.

При этом он не спеша надел желтый кафтанчик, однако, что делать с остальными элементами средневекового костюма, никак не мог догадаться, поэтому решил сначала обуться. Тут снова обнаружилась зияющая рана на левом ботинке.

ке. Хотя у него еще не было случая познакомиться со средневековой обувью, он испытывал к ней непреодолимую антипатию – в чем, возможно, есть доля вины книги о средневековой инквизиции с ее несколько неудобными «испанскими сапогами», оставившими в душе пана Броучека глубокий след, – и потому решил, что лучше всего послать пострадавшую штиблету сапожнику, чтобы тот наскоро пришел подметку. Он отворил дверь и позвал:

– Кедрута!

Через минуту в дверь осторожно просунулось сморщенное старухино лицо и верхняя половина сгорбленного туловища, причем как раз в тот момент, когда пан Броучек, держа обеими руками разорванный ботинок, с горящей сигарой в уголку рта, выпускал в прокуренное помещение новое облако дыма.

Старуха выпучила глаза и какое-то время смотрела на него остолбенев, с выражением величайшего ужаса на лице, потом вдруг подняла костлявую руку и начертила в воздухе крест, а затем с воплем бросилась вон, хлопнув дверью.

– Вот глупая бабка! – рассердился пан Броучек. – Удрала у меня из-под носу, будто за ней гонятся. Уж не боится ли меня это чучело? Если бы ее кто испугался, было бы понятно, но меня – меня!.. Неслыханное дело! Дура! Открещивается от меня, как от нечистой силы... Наверняка не в своем уме. Теперь ищи Янека по всему дому или жди, пока он сам изволит сюда пожаловать – посмотреть на гостя.

Он раздраженно отложил сигару в сторону и начал снова перекладывать предметы средневекового туалета.

В этот момент к нему вошел хозяин дома в очень веселом настроении, но остановился как вкопанный на пороге, глядя на клубы дыма и втягивая носом.

– Что творишь? – спросил он. – Пошто обкуриваешь горницу вонючим дымом?

– Ну, кадило за кукиш не купишь.

Домшик все водил глазами по комнате, ища, по-видимому, источник дурно пахнущего дыма, и тут вдруг увидел мелочи, разложенные на подоконнике.

– Ай, что за удивительные вещи! – воскликнул он и начал их разглядывать.

Бумажником он не заинтересовался, на ключ глянул мельком, но перочинный нож рассмотрел досконально, так что заметил и пооткрывал все лезвия, скрытые в черенке.

– Ай-яй-яй, какое удивительное и хитроумное рукоделие! – восхищался он. – Три ножичка в одном черенке, и все можно там спрятать. А как все тонко и искусно сработано! Вижу, чужеземные ножовщики ловчее наших: наши не умеют изготавливать такие хитрые штуки.

После этого он взял в руки часы с цепочкой и стал внимательно всматриваться.

– Что это? – спросил он наконец.

– Разве не видишь – часы.

– Это – часы?

Пан Броучек поднял руки к небесам, а затем опустил их и так стиснул, что затрещали суставы.

– Возможно ли? Вы и часов не знаете? Ответь мне тогда, дружище: как ты узнаешь, который час?

– Ну, ежели примерно, то я просто так угадываю, а ежели хочу быть уверен, иду посмотреть на солнечный загар, который я велел сделать в светлице на той стене, что в нише окна, а тут у меня загар песочный. – И он указал на песочные часы, стоявшие на подоконнике.

– Да, прекрасные хронометры! Но послушай: ты не моришь мне голову? Ведь это же уму непостижимо, чтобы люди могли жить без часов, без нормальных часов с механизмом и колесиками, потому что говорить о солнечных часах и этой песочной чепухе всерьез не приходится.

– Часы с механизмом? Ты говоришь, я полагаю, о больших башенных часах? Такие у нас тоже есть: на ратуше, на церквах...

– Так у вас часы только на башнях? А в комнатах на стенах нет? И карманных нет? А как же, если ты где-нибудь в лесу или в поле и не можешь добежать до башни? Этот песочный фонарь ты, верно, с собой в кармане не носишь: вот были бы прекрасные карманные часы!

– В домах-то, конечно, мало у кого часы с... с механизмом, или в каком-либо монастыре, или у богача какого, что не пожалел денег на такую редкую вещь. Но смешно мне слышать, когда ты говоришь про часы карманные. Каким же это

исполином нужно быть и какой огромный карман иметь, чтобы носить при себе целые часы со всеми валами, колесами и гирями!

– Да ну? А между прочим, вот это и есть целые часы со всеми колесиками, а гири и не нужны вовсе.

Перед этим пан Броучек осторожно вынул часы из рук Янека, видя, как неловко тот с ними обращается. Теперь же он откинул заднюю их крышку и поднес раскрытый механизм к самым глазам Домшика.

Древний чех с любопытством стал разглядывать часовые внутренности, и чем дольше он глядел, тем больший восторг изображался да его лице.

– Воистину! – дивился он. – Тут полно различных колесиков, и так хитроумно расположенных! И каково все на удивление тонкое и махонькое! Скажи, из какой страны идешь ты, где умеют творить такие чудесные вещи? Не похоже это на дело рук человеческих. Не верю я, чтоб рука человека некоего могла выпиливать такие зубчики, что едва глазом уловишь.

– Но у часовщиков есть лупы.

– Лупы?

– Ну, увеличительные стекла, через них блоха, например, видится размером... размером с дом, – решил преувеличить пан Броучек.

Янек от Колокола покачал головой и испытующе посмотрел на него.

– Знаешь ли, что я скажу тебе, гость: слыша твои странные речи и видя эти загары для карликов, я почти готов поверить в вещи сверхъестественные. Только что я смеялся над старой Кедрутой, у которой голова набита разнообразными языческими суевериями, и потому она повсюду видит злых духов: едва дышучи, прибежала она в светлицу с ужасной вестью, что ты извергаешь из себя искры и дым, из чего следует, что ты ведун, а то и сам нечистый...

– Ваша Кедрута – глупое чучело! Ты знаешь, что я делал? Вот погляди!

Пан Броучек сунул в рот погасший остаток сигары и чиркнул спичкой, чтобы ее раскурить.

При звуке, произведенном чиркающей спичкой, и видя вспыхнувший огонек, Домшик отшатнулся в испуге и поднял руки, как бы для защиты.

Потом он воскликнул:

– Что ты сотворил? Откуда пришел огонь?

Броучек был так изумлен этим вопросом, что уронил спичку. «Ну и ну! – вздохнул он мысленно. – Они и спичек не знают!»

– Огонь что, в этом сундучке? – продолжал допытываться Домшик.

– Да с чего ты взял? – И пан домовладелец открыл коробок.

– Но как же ты зажег щепочку?

– Да очень просто! – И пан Броучек чиркнул новую спич-

ку.

– Вот диво! Скажи, как можно извлечь огонь из пустого сундучка голой щепкой?

– Но это же дело совершенно естественное, гм-гм... – Пан домовладелец замялся, не находя ответа.

От нечего делать он часто читал надпись на коробках шведских спичек, и кто-то ему перевел, что *utan svafvel och fosfor* означает «без фосфора и серы». Но отчего они тогда зажигаются, он не мог себе теперь объяснить.

– А откуда этот смрадный дым? – продолжал вопрошать древний чех. – От этих щепочек?

– Да нет же! Это от сигары.

– А чего ради ты жжешь это мерзкое зелье?

Пан Броучек понял, что древние чехи не знают и табака и вряд ли ему удастся объяснить им, чего ради он курит, особенно эти «короткие». Он и сам иной раз не мог понять, чего ради он это делает. Поэтому он предпочел промолчать.

– Дивлюсь я, как ты можешь брать в рот эдакую гадость. Дым сей и вправду отдает преисподней, мне в нем даже тошно стало... – С этими словами Домшик распахнул дверь и продолжал серьезно: – Я знаю, разум человеческий многие дивные вещи придумал и еще более дивные придумает, и я порицаю тех, кто, не умея постигнуть некую вещь, сразу же в крик: «Злые чары! Колдовство!» Но я не хочу сказать, что иной раз не случаются вещи и сверхъестественные, от лукавого. Ты жил среди людей бродячих, а те любят зани-

маться колдовством, может, и тебя научили черной магии...

– Не веришь же ты в наш просвещенный век. – («Да, весьма просвещенный!») Пан Броучек вовремя спохватился и перешел к иной тактике защиты: – Но ведь я эти спички не сам делал, я их купил!

– Пусть только купил; все одно, ты нехорошо поступаешь, занимаясь подобными делами. Я-то верю, что ты никак не связан с чернокнижниками, и все это, может, просто фигли, для обмана людей хитроумно сплетенные. Но иные с легкостью могут рассудить иначе, и тогда худо тебе придется. Колдовство карается у нас сожжением заживо. А посему послушай моего совета и выбрось подальше это адское зелье и волшебный коробок!

– С превеликой охотой – он все равно уже пустой.

Гость швырнул и то и другое в открытые двери, ворча про себя: «Эти средневековые суеверия, право, заразительны: я уже сам, бог весть с чего, начал пугаться своих несчастных Sakerhets Tändstikor!»¹⁵

– Ну, а теперь облачись в остальные одежды, – предложил хозяин.

– Я бы уже сделал это, если б знал, как в них влезть. Скажи мне, к примеру, куда надеть это лиловое нечто?

– Это епанча, – разъярил с улыбкой Янек от Колокола. – В нее ты завернешься под конец.

С его помощью пан домовладелец прикрепил к полукаф-

¹⁵ Безопасных спичек (*шведск.*).

тану объемистый кошель, оделся в небесно-голубую юбку, опоясался металлическим поясом с привешенной к нему мощной и поверх всего этого замотался в удивительный плащ, который Янек назвал епанчой. С каждым напяливаемым на себя предметом туалета он отдавал дань иронического восхищения древнечешским портным и наконец осторожно переложил в кошель и мощну драгоценные мелкие реликвии девятнадцатого века.

Однако на сундуке осталось лежать еще нечто коричневое, суконное, назначение чего он никак не мог угадать.

– Может, это фартук к моей юбке, а? – спросил он саркастически.

Янек от Колокола от души расхохотался.

– Но это же кукуль! Смотри! – И, взяв коричневый предмет из рук гостя, он ловко пристроил его на своей голове, так что из него выглядывало лишь его смеющееся лицо.

Пан Броучек тоже засмеялся, но как-то кислотовато.

– Прекрасно! – одобрил он иронически. – Из этого кукуля человек выглядывает, как квочка из гнезда. Такой чепец очень гармонирует с бабьей юбкой и сумой.

– Но зато голова твоя будет спрятана от свежего воздуха, его же ты так опасешься, – сказал хозяин с улыбкой, надевая капюшон на пана Броучека, чье лицо пылало от стыда и злости.

– Ох, да мы забыли про обужу, – воскликнул Домшик, придирчиво оглядев гостя с головы до ног.

– Я как раз хотел послать Кедруту к сапожнику, чтобы он мне зашил это на скорую руку, – сказал Броучек, демонстрируя разорваную штиблету.

Домшик заявил, что сегодня вряд ли успеют починить, тем более что сейчас и ремесленники чаще имеют дело с оружием, чем с орудиями своего труда; однако он припомнил, что здесь, в каморке, за сундуком, лежат у него, опять же полученные в наследство, сапоги, которые, пожалуй, придутся в пору пану Броучеку.

Тот робким взглядом окинул старинные сапоги, которые Домшик извлек из сховы. У них были чудовищно длинные носы, и они тоже были двух цветов: к красной штанине зеленый, а к зеленой – красный.

Древний чех сопровождал их следующей рекомендацией:

– Все, что ко времени, благо, гласит старая пословица. Не смотри, что они сшиты по старой моде. Раньше мирская суетность заставляла людей носить такую длинноносую обувь, и я слышал, что однажды в замке Коштяле у Литомержиц громом поразило туфли рыцаря и его супруги и напрочь оторвало эти длинные носы.

«Чтоб тут все громом разразило», – подумал про себя пан Броучек, но, видя неизбежность, натянул музейную обувь.

– Теперь ты стал похож на человека, – с удовлетворением заметил хозяин. – Остается лишь выбрать оружие, которого в моем доме предостаточно.

– Ох, не будем говорить об оружии! Если бы я обладал

малой толикой воинского тщеславия, я бы давно мог записаться в общество стрелков или гренадеров.

– Но мы носим оружие не из тщеславия, нас нужда заставила.

– Какая нужда? Господи боже, вы что, боитесь один другого? Или у вас в Праге столь небезопасно, что вы не отваживаетесь и днем выходить на улицу без оружия? Или у вас нет полиции, которая защищала бы мирных граждан от всякого сброда?

– О сброде речи нет. Разве я не сказал тебе, что Зикмунд с войском своим стоит перед Прагой?

– Ах, я и забыл про эту проклятушую осаду. Все это очень печально, но мне от оружия было бы мало проку. Не буду же я таким дураком, чтобы выступить один против войска, а мирного человека они, наверное, и отпустят с миром; если же нет, ну что ж, я сопротивляться не стану, потому что все равно ничего бы не сделал, а только зря солдат раздражил. Скорее уж я поручу душу Господу Богу, и пусть меня порубят на мелкие кусочки.

– Что говоришь ты? Ты шутишь, конечно. Я не верю, чтобы мужчина мог так постыдно мыслить и сам исповедал свой позор! Ты был бы недостоин и той женской юбки, против которой так оборонялся. Возможно ли, чтоб ты, мужчина крепкий, имеющий две здоровые руки, покорно, как скотина на бойне, сам положил на плаху свою голову? Нет, не может того быть! Ты храбро выступишь вместе с нами на битву

с солдатами Зикмунда.

– Но прости, что мне этот Зикмунд? Если вы с ним чего-то не поделили, разбирайтесь сами и оставьте в покое человека, которого это дело совершенно не касается. Я тут иностранец и вообще попал сюда сбоку припека, как Пилат в «Верую».

Домшик резко отступил и, смерив гостя испепеляющим взглядом, вскричал в гневе:

– Ага, так все-таки ты лгал, выдавая себя за истинного чеха! Ты ложно клялся! Да как же так: нечестивый Зикмунд, недостойный сын пресветлой памяти короля Карла, забыв свой род и честь, собрал огромное войско иноплеменников против собственного своего народа и, как палач, посланный надменным Римом, явился сюда, чтобы огнем и мечом истребить нашу веру, растоптать права наши, выдать нас на поругание всему свету и той же бесчестной рукой, коей он вероломно отправил на костер святого магистра нашего Яна Гуса, не милостивым владыкой, но яростным тираном возложить на свое мерзкое чело светлейшую корону святого Вацлава, – и какой же верный сын земли нашей не воспламенится праведным гневом и не поднимет меча, дабы отвести от нее гибель и поношение, какой истинный чех сможет сказать, что не его эта распря, и сложа руки будет равнодушно взирать, как его братья, не щадя ни имущества своего, ни жизни самой, радостно вступают в неравную и решительную схватку! Вижу, принял я изменника под кров свой.

Перепуганный пан Броучек стал заикаться:

– Ну что ты, что ты! Ведь я тоже чех и не имею ничего против любви к родине; я и сам не один крейцер всадил в кассу «национальным стрелкам»... Если правда, что этот ваш Зикмунд такой негодяй, как ты говоришь, я от всей души желаю ему хорошей взбучки.

– Лишь неведение твое оправданием служить может, – смягчился древний чех. – Я опять забыл, что ты не знаешь, что происходит в Чехии. Ну, зато теперь тебе известна наша распря, и ты вместе с нами пойдешь биться за святое дело.

– Но... милый друг, какой вам от меня толк? Я уже стар, да и с оружием не умею обращаться. Меня и в юности в армию не взяли: у меня плоская стопа, шея не гнется и много еще чего. Так что проку от меня было бы мало, а виду тоже никакого. И вообще, я поражаюсь, зачем вы вооружаете штатских? Для чего у вас тогда регулярное войско?

– Регулярное войско? Если говоришь о наемных солдатах, то таких у нас нет. Мы сами себе войско. Все верные сыны Праги: мещане, ремесленники, работники, богатые и бедные, молодые и старые, все, кто может носить оружие, – все мы идем защищать свой город, веру, честь и свободу земли чешской. И из иных мест поспешили к нам на помощь: табориты, жители жатецкие, лоунские, сланские, тысячи селян, обившие железом свои цепи и сменившие скребки для плуга на дротики и сулицы; жены и девы вместе с ними отважно спешат на бой, и даже малые дети, едва научившиеся пускать камни из пращи, – все готовы отдать жизнь, лишь бы

не покориться врагу. А ты, мужчина сильный и здоровый, хотел бы трусливо увильнуть от боя?

Этими словами Домшик нанес пану домовладельцу новый удар.

«Ну и попал я – хуже не придумаешь! – сокрушался он про себя. – Я-то думал, у них тут нормальная война, а они, оказывается, делают революцию! Ах, Броучек, Броучек, даже в самом кошмарном сне тебе не снилось, что когда-нибудь ты сможешь очутиться в стане мятежников! Ну ничего, долго эта фронда не продержится. Все кончится так же, как в сорок восьмом. Как им расстреляют войска несколько баррикад, так и разбегутся они кто куда, и эта деревенская гвардия в первую очередь. А там уж начнут трибуналы орудовать – кому свинец, кому петлю. Но как быть мне? Если скажу «нет», очень может статься, что этот полоумный Янек возьмет да и провертит во мне дырку. И даже если я выберусь отсюда живым, на площади меня ожидает ничуть не лучшее».

Правда, ему все приходили на ум Свиные ворота, за которыми не стоит войско, ведь через них можно улизнуть в Нусли или Вршовицы и там переждать, пока восстание будет подавлено, но он сомневался, что в своем костюме сможет выбраться из города: по дороге его вполне могут схватить и забить до смерти, признав в нем чужака и шпиона. А кроме того, кто знает, как выглядит эта средневековая деревня?

Потому решился он, хоть и с тяжелым сердцем, покривить

душой в угоду Домшику и сделать вид, будто согласен с ним, а дождавшись подходящего момента, как-то вырваться из его клешней, прежде чем начнется настоящий бой. Потому он произнес с деланой отвагой:

– Ну, раз вы все идете, и я за печкой сидеть не останусь!

– Вот это слово пристало мужу, – сказал миролюбиво Домшик. – Но только мотай на ус: я не советую тебе даже в шутку вести такие трусливые речи, какие ты вел сначала: за них ты легко мог бы получить удар цепом... Теперь же войди со мной в светлицу, где моя жена и дочь приготовили нам завтрак, или, вернее сказать, малый обед, ибо в нынешние времена, выходя из дому, не ведаешь, когда возвратишься.

Гость был очень рад такому повороту разговора от дел воинских к делам кулинарным, ибо уже основательно проголодался. Поэтому он с большой охотой отправился за хозяином, совсем забыв о неудобствах, сопряженных с ношением слишком тесно облегающих «колош» и длинноносой обуви.

Ему не терпелось отведать древнечешских блюд. Хотя весь недавний опыт знакомства со средневековьем не позволял ему рассчитывать на тонкость и изысканность угощения, но оставлял надежду на его основательность, к которой повар-голод добавит все необходимые специи.

Его немного угнетала лишь мысль о церемонии представления дамам. Что бы ни сказали мои прелестные читательницы, я не могу утаить: пан Броучек чувствует себя легко где

УГОДНО, НО ТОЛЬКО НЕ В ДАМСКОМ ОБЩЕСТВЕ.

VII

Увы, вступление нашего героя в древнечешский салон получилось не слишком торжественным: он зацепился за порог длинными носами своей обуви и упал, запутавшись при этом в сборчатый плащ так, что без помощи Янека вообще вряд ли смог бы подняться на ноги...

Весь горя от стыда, он мотал своим кукулом, при падении съехавшим ему на нос, и как в тумане различил перед собой два милых женских лица.

Их средневековое убранство оставило у него лишь неопределенное впечатление красочной живописности, а из сладкозвучной древней речи обеих он уловил только, что его от всей души приветствуют, после чего счел своим долгом склониться в галантном поклоне и пробормотать: «Целую ручки, милостивая государыня!» и «Мое почтение, барышня!»

– Что такое ты там говоришь о милости и почему кланяешься, будто они княжеского роду? – мягко пожурил его Янек от Колокола. – Ведь это только моя жена Мандалена и моя дочь Кунгута, которую мы зовем просто Куночка. Пожми им по-дружески руки и будь как дома.

Пан Броучек растерянно пожал руки древнечешским дамам и был очень рад, когда они удалились, чтобы совершить последние приготовления к раннему обеду.

Только теперь он свободно огляделся по сторонам и вскоре свел результаты своих наблюдений в вывод, что Домшик не из излишней скромности назвал свою парадную комнату (ибо именно в таковую ввел он своего гостя для застолья) просто светлицей. Хотя и была она попросторней, чем комната для гостей, но имела столь же скупое освещение и была так же вымощена кирпичными четырех- и восьмигранниками; вокруг всего покоя вдоль серых стен, там и сям увешанных пестроткаными дорожками, тянулись грубые деревянные скамьи, какие в наши дни лишь изредка увидишь в деревенских избах да в сельских корчмах; в одном углу стоял простой деревянный стол без стульев, а в другом – здоровенная голландская печь странной формы; остальное убранство составляли крашеные сундуки и неуклюжий шкаф; да на полке матово поблескивали оловянные плоски, разнообразные кубки и чарки; в небольшом, вделанном в стену шкафчике с открытыми дверцами виднелось несколько старинных книг в толстых кожаных переплетах и с металлическими застежками. Если к тому добавить, что светлица имела неправильную форму, со множеством углов и закоулков, что немногочисленная мебель была в ней расставлена небрежно и как попало – причем каждый предмет был окрашен в свой, но очень яркий цвет, так что все вместе являло собой картину весьма пеструю, – я полагаю, читатель согласится с паном Броучеком, что салон Янека от Колокола гораздо больше походил на старосветскую сельскую горницу,

чем на современную гостиную.

Разумеется, были тут и вещи, что не снились даже нашим деревенским светелкам: окна в глубоких нишах, с сиденьями по бокам, не имели обычных рам и состояли из множества разноцветных круглых стеклышек, соединенных свинцом, – такие окна встречаются ныне разве что в церквях, – по стенам было развешано, как в арсенале, разнообразное оружие и доспехи, а в одном углу стоял большой расписанный щит. Верно и то, что обстановка светлицы, хотя и не пришедшаяся по нраву гостю из девятнадцатого века, при более детальном осмотре во всем обнаруживала перед ним стремление ее хозяев к красоте и даже нарядности. Кирпичный пол был посыпан свежей травкой, испускавшей приятный дух; пестрые цветы и птицы были вытканы на дорожках, висевших по стенам, и также нарисованы на одном из сундуков, в то время как другие сундуки, всяк в свой цвет окрашенные, были окованы искусно переплетенными металлическими полосками; комод и треножник простого стола имели причудливую, но очень красивую резьбу; а массивная печь, хотя и без глазурь, но вымазанная различными цветными глинками, выглядела как малая крепость, что усугублялось идущими по верху зубцами.

Домшик, видя внимание, с каким гость разглядывает сие произведение древнечешского печного искусства, объяснил ему, что печь эту он поставил (за большие деньги) на месте старого оконченного очага и что сейчас такие печи

входят в обиход.

– И круглые стекла в окнах мы у себя завели, – добавил он, и видно было, что он очень ими гордится.

– Симпатичные, – принужденно похвалил гость, – но только похоже на церковь.

– Верно, ведь прежде стеклянные окна были только в храмах, – отозвался хозяин, – теперь же некоторые городские обыватели из тех, что побогаче, не жалеючи великих издержек, устраивают и у себя в домах, в светлицах, такое драгоценное украшение.

– Стекло? Что, стекло драгоценность? – поразился гость. – Стеклянные окна у вас только в домах богачей? Боже ты мой, а что же в окнах у других?

– Судя по твоей речи, пребывал ты в каких-то дальних краях, где стекло дешевле и стеклянные окна в обычае; у нас же и в соседних землях до недавней поры ты не увидел бы в окнах домов ничего, кроме бычьих пузырей и пленок, пергамента, полотна или рога; да и сейчас окон из дорогих стеклянных кружочков очень мало. Я, правда, не великий богач, но красота их так пришлась мне по душе, что я не пожалел изрядной части моего достояния на стеклянные окна в светлице.

Пан Броучек решил ничему не удивляться, поэтому только покачал головой и промолвил:

– Но что толку от непрозрачных пленок и пузырей в окнах? Ведь даже сквозь эти слепленные осколки трудно раз-

глядеть, что происходит на улице.

– Если мне нужно разглядеть получше, я попросту открываю окно, – ответил Домшик и показал это на деле.

Гость был немало удивлен зрелищем, открывшимся ему в окне. Перед ним предстала Староместская площадь с теми странными домами, которые он заметил еще на рассвете; теперь обширное пространство между ними все было запружено густыми толпами народа, по большей части вооруженного и так пестро и разнообразно одетого, что от этой пестроты и яркости у пана Броучека просто глаза разбегались. В сумятице живописных одежд и разнокалиберных шапок и шляп блистали на солнце округлые шлемы, панцири, латы, кольчуги, раскрашенные щиты, а также бесчисленное оружие: рукояти мечей, топоры, оправы арбалетов, гвозди окованных цепов, шипы тяжелых палиц. Над головами же вздымался целый лес длинных копий и реяли хоругви – разноцветные или черные с изображением красной чаши. В одном месте, где среди толпы виднелись черные сутаны и белые стихари священников, возносился вверх на тонкой длинной жерди ослепительно сверкающий диск, окруженный сияющими лучами и напоминающий гигантский подсолнух. Живое это море волновалось и бурлило, шумело и кипело: тысячеголосый гомон и крик сливались с бряцанием оружия и топотом ног в сплошной гул, из которого порой вдруг отчетливо выделялся пронзительный вопль или громopodobный возглас.

От всего этого голова у гостя пошла кругом, в глазах за-

рябило.

– Се войско наше, – сказал хозяин дома, указывая величественным жестом вниз, – вооруженный люд пражский и наши помощники из окрестных сел. На самом деле это лишь часть войска: остальные на улицах, у ворот и на стенах города, а Жижка с таборитами стоит на Витковой горе, чтоб Зикмунд не мог там закрепиться и сомкнуть кольцо вокруг Праги, войском крестоносцев и королевскими гарнизонами в Граде пражском и на Вышеграде с трех сторон уже обхваченной. Ну скажи мне, похоже ли, что этот народ трепещет перед полчищами крестоносцев?

Гость про себя вынужден был признать, что людей на площади никак не назовешь робкими, наоборот, они внушали – по крайней мере ему – изрядное почтение. Но потом он мысленно добавил, что своим свирепым, революционным обликом и диким оружием они могут утратить штатского человека, но отнюдь не регулярное войско. Ужо, как сверкнут им навстречу штыки и ударят по ним орудия, черта лысого поможет им их старый железный лом, все эти алебарды ночных сторожей и мужицкие цепи. Ведь уже с первого взгляда можно сказать, что это все сброд, не имеющий, по-видимому, даже представления о воинской дисциплине и выправке. Тут не найдешь и трех человек, что стояли бы навтыжку, каждый машет руками как ему вздумается и выпячивает живот вместо груди. А вон там даже горбун стоит, с горбом огромным, как гора, а вот бредет с пикой в руке седой дедок – по-

жалуй, даже наше ополчение будет выглядеть лучше! В эту минуту пану Броучеку пришло в голову, что ему следовало бы знать, чем, собственно, окончится это восстание против Сигизмунда. Про это можно было бы прочесть в любом учебнике чешской истории. Но учебника истории под рукой не было, а в памяти своей он отыскал очень поверхностные и туманные сведения, из которых более или менее достоверным оказалось лишь то, что слепой вождь таборитов неоднократно лупил немцев, а сам никем побит ни разу не был! Но ему тут же пришла на ум история о том, как однажды, оказавшись в безвыходной ситуации на какой-то горе, Жижка велел перековать коней, поставив подковы задом наперед, и под покровом ночи ушел от врагов, которые не смогли преследовать его по лошадиным следам. Кто знает, может, это как раз и было на Витковой горе – и не ускользнет ли хитрый Жижка со своими таборитами от Сигизмунда, бросив Прагу на произвол судьбы, и войско крестоносцев играючи ее возьмет?! Пан Броучек сейчас горько сожалел, что в школе не получил основательных познаний в отечественной истории, и поклялся себе, что, если ему удастся вернуться в девятнадцатый век, он обязательно подвигнет Клапзубу на опубликование в газете (в рубрике «Нам пишут») письма, в котором они призовут клуб чешских депутатов включить в новый лихтенштейновский закон специальный параграф о необходимости особо внимательно изучать в чешских школах историю гуситства.

Янек от Колокола показал гостю несколько выдающихся личностей гейтманов, священников и прочих людей в толпе внизу и на его вопрос ответил, что лучистый сияющий круг на шесте, возвышающийся над головами кучки священнослужителей, есть их величайшая святыня. Пан Броучек, покачив головой при виде гуситской реликвии, спросил еще, как осуществляется командование этим повстанческим войском, и, видя недоумение своего хозяина, уточнил: на каком языке их гуситские превосходительства (произнося этот титул, он язвительно усмехнулся) отдают команды своим людям.

Услышав это, древний чех остолбенел.

– Что спрашиваешь? Никак ты ума решился? – воскликнул он. – На каком же еще языке отдавать приказы, как не на нашем? Скажи, где на свете воинские гейтманы приказывают на языке, непонятном их людям?

Пан Броучек тихонько присвистнул, но вслух сказал лишь, что воевать с хорошо организованным и вымуштрованным войском не шутка.

Домшик согласился, что борьба будет тяжелой из-за огромного перевеса неприятеля, но заметил гостю, что житель пражский отнюдь не столь неопытен в военном деле, как тот полагает. Ведь тут каждый с малых лет учится обращению с оружием, и горожане обязаны не только защищать свой город, но издавна их повинностью было участвовать в воинских предприятиях страны: в не очень больших – по-

средством наемных солдат, а в более крупных – и самолично. Уже во время распрей знати с королем Вацлавом пражанам не однажды приходилось браться за оружие, а после его смерти город почти все время походит на военный лагерь; в прошлом году и в этом жители Праги показали свою храбрость в схватках с королевскими гарнизонами в Граде пражском и на Вышеграде, а в этом месяце что ни день происходят стычки с войсками, Прагу осаждающими, и горожане всякий раз берут верх. Окрестный люд сельский тоже понаторел в бранном деле и хоть орудует лишь цепами да сулицами, а все ж неоднократно сумел дать отпор более сильному и лучше вооруженному неприятелю. Из вождей же особенно отличился Жижка, с тремя сотнями бойцов разбив две тысячи воинов Швамберка под Некмержем в прошлом году; в нынешнем – в марте – такую же страшную силу гордых железных рыцарей у Судомержи, а в мае – тройственное королевское войско у Поржичи на Сазаве.

Большую часть этих пояснений гость пропустил мимо ушей – его внимание было приковано к другому предмету.

В светлицу снова вошла Кунгута, неся посуду и большую белоснежную с бахромой скатерть, вышитую по краю, и стала накрывать на стол. Пан домовладелец только сейчас разглядел девицу внимательнее и нашел, что она душечка.

Читательницы, отнесшие, быть может, пана Броучека к разряду закоренелых женоненавистников, несправедливы к нему. Правда, он избегает дамского общества, но причина

тут скорее в некоторых ограничениях и условностях, с этим обществом связанных, нежели в дамах как таковых.

Сами по себе – разумеется, если они привлекательны, – дамы часто вызывают у пана Броучека, правда, при соответствующей дистанции, симпатию и интерес, а там, где речь идет не о дамах в строгом смысле слова и где, следовательно, отсутствуют вышеупомянутые ограничения и условности, он может быть с ними просто очарователен. Помнится, в описании своего путешествия на Луну он признавался, что «за ним водились грешки в молодые годы» и что до сих пор, увидев «смазливую девчонку, он не может порой устоять перед искушением ухватить ее за пухленький подбородок или ущипнуть за румяную щечку».

Почему же, несмотря на все это, пан Броучек остался холостяком до лет весьма преклонных, не будем выяснять детально. Определенно могу сказать лишь, что в вечной верности своей почившей возлюбленной он не клялся и не был оторгнут от сладчайших радостей бытия неизлечимым горем по причине обманутой любви. К таким вещам у него просто нет вкуса. Я склоняюсь к мысли, что вид кресла для пыток в парадном покое, сидение за чашкой чая с бисквитами в кругу комичных старых тетушек с накладными буклями и острыми язычками, вечное прикладывание к ручке маменьки и поклонов во все стороны, непрерывные «прошу» и «мерси» с обязательной сладкой улыбкой на устах, услужливое ношение разнообразных пледов и мопсов, непремен-

ный энтузиазм при скучнейших салонных играх и фальшивые восторги при фальшивой игре на фортепьяно, удушение плоти в элегантной черной паре и невозможность подремать на балу, издержки и миллион неудобств во время «прекрасных, незабываемых» экскурсий, – так вот, наряду с картиной всего этого преддверия брачного ада, от супружеской гавани его отвратила главным образом боязнь бурного волнения страстей, сквозь которое нужно пробиваться к цели: он не мог перенести мысли о вздохах и томных взглядах, букетах роз и любовных записочках, шепоте о лилеях и звездах, преклонении коленей, жарких клятвах и прочих подобных вещах, о которых он читал в романах. Наконец, к безбрачию побудила его и перспектива различных «прелестей» самой супружеской жизни; но этот предмет для меня, принимая во внимание чувства моих очаровательных читательниц, слишком щекотливый, и потому я, как уже говорилось, не хочу вникать в него глубже.

Так или иначе, герой мой отнюдь не был глух к чарам женской красоты. Правда, прелести, тяготеющие более или менее к эфирности, с коих высочайшими проявлениями пан Броучек соприкоснулся на Луне, как-то его не вдохновляют; но в остальном он отлично разбирается и отдает должное всем видам женского очарования.

Сейчас он вынужден был себе признаться, что ни одна девица до сих пор не производила на него такого всесторонне благоприятного впечатления, как дочка Домшика. Тело

не худое, но и не чересчур рыхлое, а как раз то, что нужно; лицо умеренно полное, овал мягкий, кожа чистенькая; щечки прелестно румяные и свежие, как персики, так бы и укусил; сверкающие карие глаза – и все это здоровое, юное, упругое, – кто же бы удивился, что Куночка прошла перед судом Броучека без единого замечания. Он не только простил ей старинный покрой одежды, но даже нашел, что розовое платье, ниспадающее красивыми складками, на бедрах схваченное золотым пояском, а внизу отороченное собольим мехом, сборчатая голубая накидка, заколотая у шеи серебряной пряжкой, и веночек с блестками и жемчугом на каштановых кудрях очень ей к лицу – во всяком случае, куда более, чем нынешним красоткам их патлы, начесанные на глаза, и бесформенные турнюры сзади, что – *nota bene* не есть мое, но пана Броучека суждение. Впрочем, если кто пожелает увидеть несколько очаровательных образчиков древне-чешской моды, пусть откроет «Христианское поучение» Томаша Штитного и посмотрит там миниатюры, а потом решит сам, кто прав.

Вряд ли стоит осуждать пана Броучека за то, что он, пропуская мимо ушей объяснения Домшика, все время поглядывал искоса на девицу, хлопотавшую у стола, с искренним удовольствием наблюдая за ее быстрыми движениями. И когда она, невзначай поймав его пристальный взгляд, вдруг зарделась еще более ярким румянцем и опустила свои длинные шелковые ресницы, он почувствовал, как искры ее очей

зажгли его кровь молодым огнем.

И даже когда она вновь вышла из покоя, приятное это чувство все еще владело им, так что хозяину стоило труда обратить его внимание на большой кол, вбитый у северной стороны Площади, который пан домовладелец заметил еще ранним утром.

– Видишь там, на позорном столбе, развевающиеся лохмотья? – говорил в это время древний чех. – Это разорванное знамя Сенека из Вартенберка, вывешенное там на Дозор вероломному дворянину, который недавно еще объявлял себя самым ревностным защитником Чаши и самым яростным противником короля Зикмунда, а в решающую минуту ради собственной гнусной корысти и выгоды для своего сословия дело наше оставил и в мае предательски сдал врагу Град пражский.

– Вартенберка я не знаю, – промолвил пан Броучек. – А что прочие дворяне? Что Шварценберг?

– А Шварценберка я не знаю.

– Ну, это тот, которому принадлежит Крумлов, Тршебонь и бог знает что еще.

– Крумлов и Тршебонь принадлежат не Шварценберку, а Ольдржиху из Рожмберка. И этот – подлый изменник; поначалу он также был рьяным приверженцем Чаши, но теперь стал злейшим ее врагом. Откроюсь тебе, что я не верю нашей знати. Многие хоть и приняли Чашу, но это не помешало большинству из них склониться перед королем Зикмун-

дом, тем самым, что не токмо поклялся изничтожить учение Гусово, но и провозгласил, что сокрушит отпор наш, даже если б пришлось ему истребить всех чехов и другим народом заселить чешские земли! И в самом деле, он призвал к оружию и поднял на нас весь свет. Уже не о вере спор, но о народе самом! И что же делает в эту решающую минуту наша знать? Тех, кто все еще идет с нами, можно по пальцам перечесть. Прочие же взирают равнодушно на неравную борьбу или стоят у стен Праги бок о бок с Зикмундом, в одном стане с нашим врагом. Так ли долженствует поступать верным и честным чехам? Поверь, нашим господам-дворянам дороже всего не честь и благо народа, но собственная корысть, и где увидят они выгоду для себя, там готовы соединиться хоть с чужеземцем-врагом против своих.

Пану домовладельцу уже надоела вся эта древнечешская политика, и потому он предпочел отойти от окна, которое Домшик после того закрыл.

– Ты, наверное, уже голоден? – обратился он к гостю. – Неведомо только, покажется тебе после заморских брашен наша чешская еда. Кокошь по вкусу ли тебе?

– Кокошь! – воскликнул повергнутый в ужас гость. – Кокошь?

– Чему дивишься? Позабыл, видно, как зовется птица, что сидит на насесте и вместе с кочетом бегаёт по двору?

– Ах, курица! – сказал пан Броучек, и лицо его просветлело. – А я уже чего только не передумал... – Он даже мыс-

ленно не хотел закончить ужасную картину, представившуюся его взору! Слово «кокошь» связалось в его воображении с корою дерева и наростами на нем – то было бы еще ужаснее, чем пища на Луне.

– Ну да, можно сказать «кур» либо «курица», – подтвердил Домшик. – Но не бойся, старой, жилистой курицы нам не подадут – мы будем есть цыплят. И хотя в старинных виршах голодранец-школяр выхваляется перед подконюшим:

«Что до ежи, живем привольно; куров предовольно», –

знаю, что не могу похвалиться перед гостем такой простецкой пищей, как курятина.

– Курятина у вас простецкая пища? Впервые слышу! Для меня цыпленок отменное блюдо!

– В нынешнее бурное время, да еще при осаде, мы не можем быть разборчивы в еде. Дороговизна у нас ужасная. Прежде цыпленок был за полгроша.

– За полгроша! – опять ужаснулся пан Броучек. – Приятель, оставь дурные шутки!

– Тебе и полгроша кажется много, да? В иных странах цыплята, наверное, еще дешевле. А у нас сейчас цыпленок на рынке стоит целый грош! Я, правда, держу своих кур. Но чего-нибудь получше часто и на рынке не раздобудешь. В наши дни старая пословица «тин везде господин» безнадежно устарела. Хорошо, что ты любишь цыплят. Мне со-

вестно сказать, что вторым блюдом у нас лососина.

– Лососина! – воскликнул обрадованный гость. – Лососина! Но это же княжеская трапеза!

– Ты еще и смеешься надо мной, – укорил его хозяин.

– Я над тобой смеюсь? Не скажешь ли ты еще, что и лососина простецкая пища? Я сам ел лососину всего один раз в жизни, да и то на дурацком банкете, где из-за сплошных задравных тостов и поесть толком не успеешь.

– Можно ли верить! – воскликнул в изумлении хозяин. – У нас лососей так много, что даже слуги требуют, чтобы им лососину давали на обед не чаще двух раз в неделю.

– Боже ты мой, но вы поистине живете в той сказочной стране, где жареные голуби сами влетают в рот, а в реках вместо воды течет вино, – радостно удивлялся гость, чувствуя, что у него уже текут слюнки.

– Ты кстати мне напомнил. Что будешь пить? У меня есть хороший мед.

– Мед! – вырвалось у пана Броучека, и лицо его приняло брезгливое выражение.

– Домашний мед. Я думаю, тебе понравится.

Гость отрицательно замахал руками, а потом сложил их в трогательном умоляющем жесте:

– Ради бога, прошу тебя, дружище, никогда не произноси при мне этого слова! Читал я об этом вашем... мне дурно от одного его названия. Отравил ты мне всю лососину. Честно, я бы лучше... воду стал пить!

– Если ты не пьешь мед, я пошлю за другим напитком. Утром ты говорил, что брага тебе милее вин, – так я пошлю за пивом...

Пан Броучек рванулся всем телом, глаза его засверкали, руки схватили руки Домшика, а губы проговорили сами собой:

– Так, значит, оно у вас есть?!

– Пиво? Самозря! Есть и пражское, и свидницкое, светлое, старое...

– Какое ни на есть, лишь бы было! Ну все, живу, дружище! А я уж думал, пиши пропало, никакого пива у вас нет.

– Я пошлю Кедруту в «Пекло».

– В пекло? – повторил удивленный гость, хотя в голове его тут же промелькнула мысль, что упомянутая особа будет там вполне на месте.

– «В пекле» называется пивоварня, что в узком проулке за моим домом, – объяснил Домшик. – В этом месте темно всегда, и вправду, будто в преисподней, но варят там отменное старое пиво.

Хозяин дома вышел, чтобы распорядиться насчет пива, а Броучек все потирал руки, приговаривая радостно: «Есть! Есть оно, милое!» В эту минуту он забыл о гуситах, о Сигизмунде, об осаде, о всяческих бедах и испытаниях, грозящих ему в пятнадцатом веке, и переменчивое его настроение, уже заметно улучшившееся от присутствия древнечешской красавицы, стало еще более радужным.

Вскоре Домшик вернулся в светлицу в сопровождении супруги и дочери, которые несли яства. Пан Броучек пригляделся теперь к Мандалене и заметил, что этой статной женщине, лицо которой не утратило красоты, так же как и дочери, идет старинный костюм, и особенно большое белое покрывало, живописными складками ниспадающее с ее головы, схваченное на лбу белой полоской.

Кунгута принесла полотенце и воду в медном тазу и молча протянула то и другое гостю, который с минуту в недоумении глядел на все это, а потом сказал:

– О, благодарю, я уже умылся в каморке. – «Странный обычай умываться в столовой», – подумал он про себя, но, увидя, что остальные лишь ополоснули руки, переменил суждение: «Ишь ты! Ополаскивают руки перед трапезой, будто князя! Правда, князя это, кажется, делают после еды».

Хозяева пригласили гостя к столу и минуту стояли, творя молитву. Пан Броучек счел за благо последовать их примеру, но в молитве участвовали только его руки – глаза же с любопытством разглядывали накрытый стол. На столе было две скатерти: одна положена как обычно, другая свисала с его краев красивыми складками почти до самого пола, будучи обвязана вокруг стола поверх первой. На столе стояли четыре оловянные тарелки и несколько странных мисок, больших и маленьких: с супом, с солью, с различными коржами, колбками и лепешками. Кроме того, на столе лежали четыре

ложки, похожие больше на глубокие лопатки, и два больших грубых ножа. Под конец гость заметил еще раскрашенного гнома: подвешенный к потолку на тоненькой проволочке, он парил над центром стола, как в наши дни кое-где в деревнях возносятся над печами голубки, сделанные из пустого яйца и переливающихся блессток. «Будто в старину на сельском престольном празднике, – подвел итог своим наблюдениям гость, завершая крестным знамением свою мнимую молитву. – Стол в углу у стенки, лавки, железные тарелки! И Куночка проявила рассеянность – вместо двух скатертей лучше бы подала салфетки; и вилки забыла!»

– Желаю приятного аппетита, – произнес он, усаживаясь.

Остальные взглянули на него, будто не понимая, что он имеет в виду, а Домшик молвил с улыбкой:

– О нашем аппетите не беспокойся; лишь бы тебе пришлась наша пища по вкусу.

– Вот миса с похлебкой, – указала хозяйка дома. – Но лучше я налью тебе сама.

– О, благодарю, – прошептал пан Броучек, радостно глядя, как она наливает ему полную до краев тарелку супу, от которого исходил многообещающий аромат.

– На чужбине, ты, конечно, привык есть из талерки, – предположил Домшик. – У нас еще сейчас многие едят прямо из мисы, а в старые времена жаркое клали на лепешки.

Гость энергично принялся за наваристый суп, который оказался очень вкусен, хотя и несколько необычен.

Только ложка доставляла ему огорчение своей формой, очень затруднявшей его работу.

– Ну как, милый гость, похлебка пришлась тебе по вкусу? – спросила Мандалена, когда он опорожнил тарелку. – Если хочешь, я налью тебе еще.

– О, благодарю! Прекрасный суп!

Пан Броучек с аппетитом съел еще одну полную тарелку. Раскрасневшиеся щеки его лоснились от пота и радостной удовлетворенности.

Теперь ему не хватало только салфетки. Из девятнадцатого века он вынес привычку всякий раз, принимаясь за еду, повязывать себе вокруг шеи чистую салфетку, выпустив сзади, наподобие больших белых ушей, два конца, и этот ритуал принадлежал к числу любимейших его действий за столом. А здесь ему нечем было просто рот вытереть. Тут он заметил, что хозяин наклонился к скатерти, обвязанной вокруг стола, и вытер губы в ее складках.

«Ах, так вот, оказывается, как нужно! – сказал себе гость, внутренне усмехнувшись. – Тут особенно не стесняются. Ну что ж, не будем церемониться и мы». И он последовал примеру Домшика.

Хуже было потом – с жареными и уже разрубленными на куски цыплятами, Домшик предложил пану Броучеку угощаться. Тот деликатно подтянул к своей тарелке один из ножей, лежавших на скатерти, и попытался дать понять взглядом, блуждающим по столу, – что не может же он лезть в мис-

ку руками. Но хозяева были недогадливы, и ему не осталось ничего иного, как попросить открыто:

– Я попросил бы вилочку...

– Вилочку? – повторил Домшик с удивлением. – Кунгута, принеси гостю с кухни вилку! Ты что задумалась? Принеси, раз просит.

Девушка принесла предмет, который скорее можно было бы назвать вилами.

– Благодарю, – по привычке вежливо произнес гость, но с трепетом принял мощную и тяжелую рукоять, из которой торчали два длинных, толстых железных зубца.

– Что ты все просишь да благодаришь, как нищий, – мягко пожурил его Янек от Колокола. – Ведь ты наш гость, и всем, чего ты пожелаешь, мы готовы послужить тебе от всей души. Поэтому не проси и не благодари за каждую мелочь.

– Благодарю, – прошептал неисправимый гость, оторопело поворачивая чудовищное орудие.

Огромная вилка раскорячилась над миской, как Колосс Родосский, и пану Броучеку пришлось немало потрудиться, прежде чем ему удалось подцепить крылышко. А потом она опять пустилась в пляс на тарелке, так что были опасения, как бы пан Броучек не выколол себе глаза.

Он чувствовал, что взоры всех с удивлением устремлены на него, и оттого становился еще более неловким. И тут он увидел, что Домшик спокойно берет из миски второе крыло цыпленка просто рукой и спокойно начинает с ним расправ-

латься лишь при помощи рук и зубов.

«Ах, шут побери! – осенило пана Броучека. – Они едят просто руками, как дикие! А это, по-видимому, кухонная вилка, если надо разрезать на порции целый оковалок жареного... За столом же у них вместо вилок две пятерни!.. Это несколько многовато. Хотя... впрочем... особенно когда ешь курицу, пожалуй, даже практичнее, чем мучиться с вилкой и ножом, которые в обществе чопорных господ при нынешней извращенной моде не знаешь, как и в руки взять».

Отложив в сторону неудобную вилку, он последовал примеру хозяина и заметил, что образцово зажаренный цыпленок гуситской эпохи имеет такой же отменный вкус, как в наши дни, хотя и управлялись с ним без вилки.

В этот миг со скрипом приоткрылась дверь и в светлицу через щель протянулись две худые желтые руки, держащие большой кувшин. Поставив его на пол, руки тотчас же исчезли.

– Ты видишь, какого страху нагнал ты на нашу Кедруту! – воскликнул Домшик, и все рассмеялись вместе с ним. – Нам приходится самим себе прислуживать.

«Глупая бабка!» – обругал ее про себя пан Броучек.

Хозяин дома налил пива в два кубка и сказал, обращаясь к гостю:

– Во имя божие, за твое здоровье, милый Матей!

Пан Броучек чокнулся с ним, но сразу пить не стал. Это был ответственный момент! Еще недавно он был счаст-

лив услышать, что средневековые чехи умеют варить пиво. Но оставался принципиальный вопрос: какое? Может, это допотопная мутная патока. Поэтому он приступил к делу с основательностью, отвечающей важности момента. По привычке он сначала обтер край кубка, погладил его и поднял посмотреть на свет, но поскольку кубок был непрозрачный, он опять поставил его на стол, очертил его дном круг и только тогда поднял и пригубил; он пил, прищурился глазами, неторопливо, с выражением серьезной сосредоточенности и напряженного внимания; отхлебнув немного, он сделал маленькую передышку, во время которой слегка отвел кубок от губ и совсем закрыл глаза, сохраняя на неподвижном лице загадочно-глубокомысленную мину сфинкса; так сидел он несколько мгновений, после чего последовала вторая серия глотков – и тут глаза его приоткрылись и на лице заиграла многообещающая улыбка; он в третий раз поспешно поднес кубок к губам и пил, пил без передыху, поднимая его вместе с головой все выше и выше, пока кубок не оказался перевернутым вверх дном, а голова до отказа закинута назад; он закатил очи будто в божественном экстазе, так что зрителям виднелись одни белки. Наконец он шумно поставил пустую чашу на стол, погладил брюшко, пошевелил во рту языком, почмокал губами и, устремив на Янека от Колокола восторженный взгляд, выразил свои чувства протяжным «а-а-а-а-а-х!».

– Вот это пиво! Хвала и честь! Ваш адский пивовар

и вправду варит чертовски смачный напиток! – И он опять причмокнул языком и губами.

Остальные с улыбкой наблюдали за его сложным питейным ритуалом, и Янек произнес уже шутливым тоном:

– Я рад, что тебе понравилось. Но, послушай, из тебя получился бы заправский мундшенк.

– Мундшенк? А что это такое? – спросил Броучек.

– Должность такая: пробовать вино.

– Вот это синекура! Но ты, конечно, шутишь?

– Отнюдь. Один из моих дядьев – мундшенк, тем и кормится, и не худо. Мы в шутку говорим, что знак своего ремесла он носит на лице: ты бы это понял, увидев, какого цвета у него щеки и нос. Но для этого искусства нужен язык чувствительный и опыт большой.

– А мундшенки по пиву тоже у вас есть?

– Нет, пиво не такая редкость и сортов его не так много; в нем все понимают.

Пан Броучек не сказал ни слова, но про себя решил, что Янек весьма ошибается. Настроение его сейчас можно было бы назвать почти превосходным. В ушах у него все время звучал припев песенки: «Там, где варят пиво, там живут счастливо», – и ему подумалось, что он не стал бы особенно отчаиваться, если бы ему было суждено прочно засесть в этом пятнадцатом столетии. Правда, ему пришлось бы привыкнуть ко многим неудобствам, особенно это восстание против Сигизмунда чертовски неприятная штука; но каждой

войне приходит конец, а в мирное время тут жизнь, пожалуй, отнюдь не плоха. Пиво великолепное, кухня отменная, цыпленок за полгроша – он будет жить тут как прелат. Особенно если от него не ускользнет клад короля Вацлава! Но даже и без клада прожить можно – ведь дешевизна просто сказочная. Например, можно завести «мундшенкирню» пива: он бы показал этим старым чехам, что пиво пиву рознь, и какой чувствительности может достичь в этом направлении натренированный язык. В худшем случае можно заняться дегустацией вин. В винах он, правда, не очень разбирается, да и возраст не тот; но, может быть, еще не все потеряно, и, если поупражняться как следует, через полгода он и тут достигнет необходимого мастерства. Он будет заниматься своим ремеслом поистине со вкусом, и может статься, что через годик-другой заработает себе на домишко или возьмет какой-нибудь дом за невесту...

Тут пан Броучек резко прервал ход своих размышлений. Это было невероятно: хотя бы мысленно предположить возможность женитьбы. Он, правда, отогнал лукавого прочь, но взгляд его все еще искал дочку Домшика, про которую пан Броучек совсем позабыл, занятый более важными интересами своего желудка и горла. А Кунгута как раз внесла большое блюдо с лососиной и, ставя его на стол, приветливо промолвила:

– Бери, милый гость, а если хочешь макало, то вот тебе макальник.

– Макало? А что, это что-нибудь хорошее? – осведомился гость.

– Мы еще говорим – подлива.

– А, соус! Значит, как вы говорите – макало? Это надо запомнить. Я любитель макал.

– Ты, наверное, блуждая по свету, выучил много разных языков?

– Честно говоря, не очень. У меня к языкам таланту нет. Но по-немецки худо-бедно умею, слава богу!

– Почему ты говоришь «слава богу»?

– Ну, человек вообще должен благодарить бога за каждый иностранный язык, которым владеет, а за немецкий в особенности. Ведь без него нам и шагу шагнуть нельзя.

– Да что ты опять такое говоришь? – вступил в разговор Домшик. – Без немецкого шагу ступить нельзя? Кому нельзя, где? В нем не нуждается ни крестьянин в чешской деревне, ни рыцарь в своей крепостце, ни граф в своем замке среди своих людей, ни городской житель, будь то ремесленник либо купец – разве что поедет по торговым делам в немецкие земли, а много ли таких?

«Опять он про свою политику! – рассердился Броучек, только было собравшийся с величайшим пиететом отдаться изысканному наслаждению прекрасно приготовленной лососяной. – Как будто нельзя поговорить о погоде, о пище и питье, о квартире и прочих разумных предметах!»

– Так почему же ты говоришь, что тебе нужен немецкий

язык? – все возмущался Янек от Колокола. – Может, в Мейсене, или в Австрии, или где там еще жил ты среди немцев, но не у нас!

Пан Броучек до того разгневался на нарушителя его гастрономических восторгов, что, совершенно забыв, в каком столетии он находится, резко осадил Домшика:

– Послушай, ты кому это говоришь? Ты что, думаешь, я не знаю Прагу? Возьми пройдишь по Пршикопам, или сядь в трамвай, или загляни в Городской парк¹⁶, в Стромовку¹⁷, да куда угодно, где много народу, и ты всюду услышишь немецкую речь, так что уши заболят. Дамы и девицы между собой на улице говорят исключительно по-немецки: ведь каждая хочет показать свою образованность, и каждый умный папаша-чех посылает дочек в немецкую школу, пансион, институт, монастырь если не дома, то за границей. Правда, на какое-то время немецкий язык отступил; но ныне опять все онемечиваются наперегонки не только в Праге, но и в провинции. Я это знаю по собственному опыту и по рассказам других. В самой убогой деревне, в захудалом шинке ты, попав в комнату для почетных гостей, усладишь свой слух вторым официальным языком.

Он мог беспрепятственно договорить, потому что присутствующие онемели от изумления. Лишь немного спустя Домшик воскликнул:

¹⁶ Городской парк – ныне Сады Ярослава Врхлицкого.

¹⁷ Стромовка – большой парк в северной части Праги.

– Ох, заморочил ты мне голову своими неумными речами! Речь плетешь, что рогожу. Как можешь ты говорить о Чехии, весь век прожив вне отечества? Верно, тебе кто рассказывал, как у нас раньше бывало, да еще правду с ложью смешал. Да, это правда, что при дворе короля немецкий язык давно был в чести; правда, что и магнаты были привержены ко всему иностранному и давали замкам своим и себе самим немецкие имена и, как обезьяны, жадно перенимали чужеземные обычаи; правда и то, что ослепленные короли наши всячески привечали иноземцев, так что те валом валили к нам в страну, и вскоре все наши крупные города оказались во власти немцев, и даже часть чешских горожан начала перенимать говор и нравы пришельцев; язык славянский едва не истребился в стране нашей, как вышло в землях, на север лежащих. Но все повернулось иначе. Сельских жителей не коснулось иноземное влияние, и неправда, будто в чешском селении можно слышать немецкую речь; также мелкие дворяне и рыцари, показав себя в этом достойней дворянства высшего, всегда оставались верными чехами, а некоторые, как, например, благородный рыцарь Штитный, даже книги писали на чешском языке, пробуждая к нему в людях любовь и возвышая свой голос против чужеземного гнета; да и в городах чехи все больше набирали силу против чужеземцев, которые, будучи числом поменее, лишь за счет богатства, привилегий, наглого насилия и милости короля смогли на какое-то время удержать власть, богом им не данную. Но в конце кон-

цов им пришлось уступить ее истинным детям нашей земли. Уж много лет никто не может сказать словами древнего летописца, который сто лет назад писал о коронации короля Яна, что на улицах Праги больше слышна немецкая, нежели чешская речь, и совсем уж неправда то, что ты сказал, будто чехи-пражане посылают своих дочерей в немецкие школы и монастыри...

– Ни за что бы не стала учиться языку наших заклятых врагов! – пылко воскликнула Кунгута.

– Если бы нужно было, чтобы дочь простого мещанина знала чужие языки, – продолжал ее отец, – я отдал бы ее учиться латыни или другому какому языку, но только не тому, что повсюду над нашим возвыситься хочет и тщится его погубить. То-то возликовали бы враги наши, видя, что мы сами детям своим их речь навязываем, которую они и силой, и хитростью тщетно пытались насадить в нашей земле. Сами бы мы погубителям своим против себя помогали: ибо, если б опять удалось им добиться над нами господства, легче бы им было людей нестойких и неразумных меж нами, к тому же по-немецкому уже умеющих, полностью склонить на свою сторону, превратить в жалких отщепенцев. И всегда, когда в народе ширится знание языка иноплеменных, портится и гибнет язык отечественный; это мы и на себе в Чехии испытали. Потому и Гус противился смешению двух языков и написал: «Верно, что Неемия, слышав, как сыны иудейские говорят наполовину азотским языком и не знают иудейского,

за то бичевал их и хулил – так же ныне бичевания достойны пражане и прочие чехи, кои говорят наполовину чешским, наполовину немецким языком».

– Мы можем гордиться, что жены и девы чешские всегда с любовью приникали и приникают к родному своему языку, прилежно читая поучения Штитного и другие чешские книги, жадно впивая в себя учение проповедников чешских, особенно магистра Гуса, который написал для них «Дочку» и даже из тюрьмы в Констанце перед смертью сердечный привет им посылал, – вся раскрасневшаяся, с жаром проговорила Кунгута.

– Все это очень хорошо, – отозвался гость. – Но немецкий все-таки второй официальный язык нашей страны, и потом, у нас же равноправие.

– Язык земли чешской – наш родной язык, язык святого Вацлава, – резко и с ударением ответил хозяин дома. – Малые числом немцы живут здесь недавно, и им следовало бы научиться говорить на языке народа, гостеприимно их приютившего. Они же считают, что надо наоборот. Однако мы их за это не собираемся убивать. Даже сейчас, во время осады, мы позволяем немцам, слух свой к учению Гуса склонившим, беспрепятственно пребывать в Праге и совершать богослужение на родном языке. Но таких всего горстка. Остальные не хотят довольствоваться правами, равными нашим, но желают властвовать над нами. Не будет у нас с ними мирного равенства, ежели они не перестанут стре-

миться к главенству и нас вынуждать к обороне. Ты посмотри только, как они вели себя в Праге! Новый город и Градчаны были чешскими с самого своего основания; и Малый город, куда король Отакар вместо чехов, насильственно вытесненных, населил немцев, ходом событий в руки чехов возвратился; однако в Старом городе богатые переселенцы немецкие до недавней поры крепко держали власть, неправдой добытую, нагло и жестоко притесняя более многочисленных жителей исконных. Все должности в магистрате и в суде между собой поделили, ни одного настоящего чеха в свой круг не впуская; записи в книгах города вели все по-немецки, указы на немецком языке издавали; немецкими латниками народ чешский пугали; и суд над чехом вершили языком немецким в ратуше, откуда каждое чешское слово было изгнано. Скольких стоило усилий, чтобы чехи добились своих естественных прав! Напрасно приказал справедливый император Карл, чтоб в городских судах разбирательство велось по-чешски и чтоб в магистрате сидели не одни только немцы; немцы сумели обойти этот указ, даже в книги свои его не записали. Еще восемь лет назад коншелами были почти сплошь немцы, и у них еще хватило наглости при помощи немецких наемников воспротивиться осуществлению религиозных чаяний чешского населения, но уже напрасно. Яростно защищая торговлю индульгенциями, они успели еще казнить трех чешских юношей, но возмущение народа испугало их и отвратило от дальнейших насильственных

действий; нападали они на Гуса и его Вифлеемскую часовню, да безуспешно. Но настойчивые жалобы чехов возымели свое действие, и король Вацлав приказал, чтобы впредь половина коншелов были чехи, а половина – немцы. Но даже и тут немецкие коншелы сохраняли еще столько власти, что две недели спустя выместили свою злобу на двух пламеннейших вождах чешского люда, выдав в руки палачу моего отца и...

Ян не окончил фразы, потому что пан Броучек от испуга уронил на пол ложку с вкусным соусом к лососине.

– Как так? Твой отец был... был казнен? – с трудом произнес он.

– По приказу коншелов он был семь лет назад обезглавлен вместе с Ченеком, кройщиком сукон¹⁸.

«Ну и в семейку я попал!» – ужаснулся гость, и ему тут же пришло в голову, что на нем одежда казненного. Он вздрогнул всем телом от страха и отвращения, и уже казалось ему, что он видит кровавые следы на своем средневековом платье.

Однако Домшик продолжал:

¹⁸ Эти слова подтверждают мысль Томека о том, что Ян Ортлов от Белого Колокола, иначе Домшик именуемый, и Ченек – кройщик сукон – были обезглавлены «неизвестно за какие вины, право или неправо им приписываемые, но похоже, что отчасти и из соображений партийных, а может быть, и по причине межнациональной вражды. Судя по именам казненных, оба они были чехи». Читатель, который, конечно, верит Янеку от Колокола, уберет все эти «похоже», «может быть», «отчасти» и прочие оговорки осторожного историка. (Прим. автора.)

– Он умер мученической смертью за свою приверженность учению Гусову и языку чешскому. Я свято храню как дорогую реликвию платье, окропленное дорогой кровью, которое мы совлекли с тела, для погребения нам выданного.

– Так эта одежда не с него? – перевел дух пан Броучек, все еще судорожно сжимавший края епанчи, будто собирался сорвать ее с себя и зашвырнуть подальше.

– Отнюдь. Эта принадлежала моему деду. Но одежды покойного отца моего тебе бы и не подошли! Он был крупный, как я.

Помолчав, Янек от Колокола снова заговорил:

– Сей мерзкий поступок был концом немецкого господства в Праге. Король Вацлав прогнал всех тогдашних коншелов, и с той поры чехи обрели преимущество и в магистрате Старого города. Когда же после сожжения магистра Яна народ чешский воспламенился гневом против его врагов и после кончины короля Вацлава поднял оружие на Зикмунда, тут немцы пражские толпой бросились вон из Праги, к Зикмунду, в надежде вернуться в захваченный город с королевскими войсками и снова возложить тяжкий ярем на поработанный народ; однако и тех, что остались, кроме горстки принявших учение Гусово, нам пришлось выдворить из города, чтобы не было среди нас тайных и явных приспешников врага. Теперь они там, в королевском лагере, аки волки жадные, ожидают минуты, когда вслед за крестоносцами смогут ворваться в покоренный город – лежащую в развали-

нах, мертвую Прагу, но я твердо верую и уповаю, что бог справедливый защитит нас и обратит в прах все их надежды!

Опороженная тарелка избавила пана Броучека от продолжения пресного и скучного разговора. Мандалена опять осведомилась у гостя, вкусна ли еда, и он с жаром нахваливал ее кухню, а в подтверждение своих слов накладывал себе, сколько вмещалось в тарелку. Но про себя он не мог не пожаловаться: «Этот полоумный сумасброд чуть было совсем не отбил у меня аппетит. Надо же разглагольствовать за едой про палача и обезглавливание!», а исключительно приятный вкус кушаний и напиток вскоре вернул ему хорошее настроение.

И когда вслед за тем девица с нежной улыбкой предложила гостю, очевидно, десерт: на выбор пироги, рогульки с начинкой, конфеты из Рудольфовой аптеки «У лилеи» (тогда конфеты продавались в аптеках) и некую «вармужу» – он был уже в таком размягченном состоянии, что даже сумел произвести на свет несколько галантных фраз: «Я не любитель сладостей, но вам не могу отказать. Ну что ж, возьмем хотя бы этой вармужи. Она выглядит чертовски привлекательно».

– Это из яблок и других фруктов, – объяснила Куночка.

– Истинная манна небесная! – гость был в восторге. – Это вы сами готовили, барышня?

– Кто? Что ты говоришь?

– Это ты сама стряпала? – нерешительно поправился

гость, удивляясь про себя: «Подумать, сколько в девятнадцатом столетии нужно времени и всяких экивоков, чтобы добиться сладкого «ты», а здесь на «ты» совсем натурально, с первой же встречи!» Ах, волшебство женской красоты! От тебя не защитит ни мантия философа, ни власяница аскета, ни рубище нищего, ни седины старца – ты всепобеждающее; ничто, ничто в мире не устоит перед тобой! – так почему бы нам не признаться, что «ты» покорило и пана Бручека – наперекор его устоявшемуся образу жизни и почтенному возрасту, наперекор всем опасениям и беспокойствам, которыми окружило его это темное и варварское средневековье!

Ставя миску с «вармужей» опять на стол, девица ненароком коснулась ручкой руки гостя, и это коротенькое теплое прикосновение воспламенило его кровь. Сладкий вкус «вармужи» соединился с чувством еще более сладостным, глаза его блаженно прижмурились, а в мозгу сплетался причудливый узор из радужных мыслей: «Старик, правда, изрядно взбалмошный, и история с ее дедушкой также мне совсем не нравится, но она же в том не виновата. А девица хоть куда, красивая, здоровая, ласковая, умеет стряпать и хозяйство вести, не то что наши жеманницы, обученные лишь бренчать на фортепьянах. К тому же единственная дочь... И дом солидный, трехэтажный, крепко построенный, хотя, конечно, по старинке и запущен просто срам; но если настелить новые полы, побелить и окрасить комнаты, с наружной сторо-

ны сбить все эти глупости и выкрасить фасад в какой-нибудь веселенький цвет, то-то будет дом-красавчик среди всех этих древних голубятен. Лишь бы только кончилось поскорей это восстание. Если мне на роду написано остаться в пятнадцатом столетье, кто знает... кто знает, что мне суждено тут сотворить... Я не очень-то ведь стар... Мундшенкирня тоже дело неплохое... Гм-гм...»

От приятных дум его отвлек голос Домшика:

– Если ты насытился, милый гость, пойдем теперь в город.

Хотя пан Броучек и был сыт, ему совсем не хотелось вылезать из-за стола, чтобы променять это милое общество на дикую гуситскую Прагу.

В эту минуту весьма кстати его сотрясло громогласным чихом, и, поднимаясь, он сказал:

– Да, вот вам результат сквозняка в камерке – схватил насморк. Пожалуй, будет лучше, если я останусь дома и еще немножко пропотею в постели.

– Ты опять принимаешься за свои неуместные шутки? Да будет тебе ведомо – мы с минуты на минуту ожидаем решающего сражения. Жижка, расположившись на Витковой горе, разрушил замысел короля взять Прагу в кольцо и задушить ее голодом. Я говорил тебе, что у нас нынче все дорого и многого на рынке не купишь – но хлеба и прочих обычных вещей (кроме соли) у нас в достатке, а вот войско крестоносцев страдает от нехватки и самой необходимой пищи. Потому Зикмунд не сегодня так завтра непременно предпримет

атаку – и, чтобы отразить ее, надобна будет помощь каждого; а ты хотел бы лениво нежиться в постели? – сурово проговорил Домшик, и слова его падали словно ледяной душ на разгоряченного любовными мыслями гостя.

Он уже почти не обратил внимания на прелестную Куночку, что с приветливой улыбкой опять поднесла ему медный таз для омовения рук.

Когда краткой молитвой они завершили обед, Домшик отвел гостя в сторону и проговорил, указывая на оружие, развешанное по стенам:

– Возьми себе какое хочешь, у меня тут богатый выбор.

О боже, как отличался этот выбор от того, что ему было только что предложено: вместо аппетитной «вармужи», пирогов и рогулк взирали на пана Броучека страшные орудия войны, на которых там и сям виднелись – но крайней мере так ему казалось – следы засохшей крови.

Пред их грозным блеском пан Броучек невольно отступил и стал говорить заикаясь:

– Но, может быть... может быть, мне разрешат прислуживать в госпитале, где раненые, или... или... писать в какой-нибудь воинской канцелярии – у меня довольно красивый почерк...

– Нынче надобны нам лишь эти перья, – с ударением сказал Домшик, стукнув по рукояти своего меча. – А за ранеными у нас ходят женщины и девицы, это не работа для мужчины. Итак, выбирай – может, этот буздыхан?

И он так решительно принялся вращать в воздухе булавой с длинными железными шипами, что пан Броучек в испуге отскочил.

– Нет-нет, благодарю, – выдавил он из себя, – а то я еще сам уколуюсь!

– Ну, тогда этот арбалет – если ты добрый стрелок.

– Да нет, я в жизни и воробья не подстрелил.

– Так, может, меч?

– Ой, мне не хотелось бы волочить такую тяжесть – да я его и не подниму.

– Ну так скажи, что ты хочешь! Бери вот эту сулицу.

– Ну, бог с тобой, давай ее, так и быть, – вымолвил с меланхолическим вздохом пан Броучек, принимая длинное копье с железным наконечником и двумя крюками под ним. Оно казалось менее грозным, потому что напомнило ему самое безобидное оружие на свете: алебарду ночного сторожа.

– Не хочешь ли панцирь и шелом? – осведомился его мучитель.

– Еще мне не хватало париться в железном котелке! Достаточно и этого капора.

– Кольчугу я тоже оставлю дома, но шелом мне пригодится, – рассудил древний чех и заменил свою шапку округлым шлемом.

Женщины между тем убрали со стола и подошли к ним.

– Ах, почему я, как таборитки, не могу идти сражаться вместе с вами, – вздохнула Кунгута.

– Меч не для твоей руки, – промолвил ее отец. – Ты не столь вынослива и не закалена тяжким трудом, как наши крестьянки. В Праге мужчин хватает, и мы сумеем ее защитить, не обращаясь к помощи женщин. Ежели начнется бой, помогай в городе ухаживать за ранеными.

– Ах, супруг мой, господин мой, воротись живой и здоровый, – вдруг запричитала Мандалена и, бросившись к мужу, обняла его, прильнула к нему, громко вздыхая.

– Жена! – укорил ее Домшик, но все же запечатлел на ее лбу нежный поцелуй. Затем он обнял и поцеловал дочку.

После этого женщины по очереди подали руку гостю, и тот, к великому изумлению Мандалены, вежливо приложился к ручке хозяйки, Куночке же только пожал, сопроводив сей жест выразительным взглядом.

В дверях он преодолел немалые трудности, причиненные ему длинным древком, но благополучно выбрался, если не считать того, что, резко повернувшись, он несколько неосторожно задел древком сулицы Куночку и смел с сундука горой составленную посуду, которая по большей части разбилась вдребезги на каменном полу.

VIII

На узкой лестнице наш герой тоже вдоволь намучился с сулицей, которая все время стучалась об стенку.

Выйдя из дома, они сразу же очутились в густой толпе вооруженных людей, сквозь которую они пробивались с трудом. Особенно тяжело приходилось пану Броучеку с его сулицей – он никак не мог приспособить ее поудобнее: то и дело она сцеплялась с другими копьями, пиками и дротиками и угрожала головам встречных, за что ее хозяин стяжал не один укоризненный взгляд, а то и злой окрик.

Янек от Колокола попутно здоровался то с одним, то с другим из знакомых и, когда они добрались до южной стороны ратуши, обратил внимание попутчика на городские часы, которые, однако, выглядели совсем иначе, нежели сохранившиеся по сей день часы работы мастера Гануша конца пятнадцатого столетия, и на большой колокол, в который били при тревоге; но пану Броучеку было не до того – давка здесь была еще ужаснее и мучения с сулицей еще горше, так что он несколько раз даже пробурчал: «Черт меня догадал взять эту жердь!»

Наконец на Малой площади они кое-как выбрались из толчеи, и гость смог более внимательно оглядеться вокруг. Место и впрямь было необычайно живописное. Хоровод разноэтажных домов вокруг площади – со сводчатыми

аркадами, эркерами, галереями, далеко выступающими крышами – был украшен искусной резьбой и лепниной; в маленьких окнах, кое-где сдвоенных, там и сям поблескивали разноцветные выпуклые стеклянные кружочки, соединенные свинцом; однако большая часть окон была затянута лишь непрозрачными пленками; на фасадах домов были нарисованы знаки, среди которых пану Броучеку особенно бросилась в глаза лилия на одном доме, сохранившем этот знак и по сей день, а на другом – большие, яркими красками намалеванные страусы. Посередине Малой площади сидели бабы в старинных цветных одеждах и торговали фруктами, чьи красные, синие и прочие сочные тона также немало способствовали живости колорита, состязаясь в том с головными повязками из разноцветных сукон, шитых золотыми и серебряными нитями, украшенных переливчатыми блестками. Прилавки и будки продавцов тянулись по правой стороне площади и дальше, под аркадами здания до самой Лингартской площади, где стояла какая-то церковь в соседстве с кладбищем.

– Подумать только, у вас фруктовый и цветочный базар тоже на Малом рынке! – подивился пан Броучек.

– Фруктовый и веночный, – поправил Домшик. – Здесь наши девицы покупают себе венки и повязки. Но сейчас у торговцев венками барыш невелик, ибо дочери наши и сами в час, когда над городом нависла опасность, не имеют ни времени, ни охоты подбирать себе украшения, а кто и хотел бы,

так те боятся таборитов, не одобряющих всю эту суету сует. Ты видишь перед собой лишь тень того базара, какой бывал тут прежде. Многие торговавшие взяли за оружие, да и покупателей мало. А бывало, вокруг ратуши всюду кипела торговля: под аркадами с восточной стороны раскидывают свои лотки и ларьки мелкие лавочники, скорняки и торговцы полотно; на южной стороне в галереях под ратушей стоят пекари, а перед ратушей – торговцы всякой снедью, кухари да повара, а напротив старьевщики, а тут...

Его объяснения были прерваны воплем старой торговки фруктами, у которой пан Броучек по недосмотру смахнул своей сулицей кучку отборных летних яблок, за что она тут же вылила на него ушат столь же отборных древнечешских комплиментов:

– Ах ты дармокол паршивый, ты чего размахался своим копьём? Что у тебя, глаз нету, карла пузатый, или никогда не носил сулицу, каплоух каплоухий! Погоди, ужо висеть тебе на перекладине, петельник чертов! Бе-е-е-е-е! Бе-е-е-е-е!

И свирепая баба, в своем пестром наряде похожая на огородное пугало, уперши руки в боки и всем телом перегнувшись вперед, бляяла вслед пану Броучеку, сопровождая это бляение нескромными жестами и телодвижениями.

– Умолкни, елсовка! – прикрикнул на нее Домшик и поторопил своего спутника, сказавши: – Здесь свою честь не оборонишь. Верно говорится в одной пьесе, игранный студентами на Пасху, что злая баба хуже черта:

«Черта открестится есть возможно – Дажь боже злыя бабы охранити ми ся неложно!»

И долго еще неслись им вслед оскорбительные выкрики торговков и визг детишек, которые в своих пестрых средневековых одеждах бежали за ними какое-то время, как стайка причудливых лесных гномов.

Нашему герою подумалось, что пражские торговки не очень-то изменились за пять столетий, и он снова пожалел про себя: «Черт меня догадал выбрать эту закорюку!»

– Особливо торговки отличаются злоязычием, – говорил Домшик, – и рынок, где торгуют женщины, редко обходится без свары, хотя у нас против них существуют суровые законы. Ежели какие две торговки сцепятся и будут рихтарем взяты под стражу, назначается им за то такая кара: сначала одна должна носить каменные жернова от каталажки до лобного места, а другая ее шпынять, а потом наоборот то же самое, от лобного места до тюрьмы.

Древний чех вел пана Броучека дальше, на Лингартскую площадь, где тогда находился птичий рынок, и показал ему церковь Св. Лингарта с кладбищем, у стены которого приютилась лавка шорников. Он также обратил его внимание на недалекую церковь Богородицы на Луже, стоявшую на углу переулка, соединявшего Лингартскую площадь с нынешней Марианской площадью.

С Лингартской площади Домшик повел гостя к церкви Св. Микулаша. Дорогой их приветствовал доносившийся из ближайшей длинной улицы по правой стороне громкий стук и грохот молотов; провожатый объяснил пану Броучеку, что это улица Острожная, или Бронная, названная так потому, что живут здесь ремесленники, делающие шпоры, удила, а также оружейники, изготавливающие доспехи, латы, шлемы и прочие железные изделия.

Налево, у выхода на Микулашскую площадь, которую Домшик назвал Старым птичьим рынком, пана Броучека приятно удивил знакомый дом с эмблемой зеленой жабы.

Большая церковь Св. Микулаша имела совсем иной вид, нежели позднейшее творение Динценгофера, где ныне отправляются православные службы. Возле нее было кладбище и дом приходского священника.

На западной стороне площади Домшик обратил внимание гостя на длинное здание коллегіума Всех Святых, а дальше на север, за улицей Св. Валентина, в которой пан Броучек по расположению признал нынешнюю улицу Капрову, — на пражскую колыбель науки, бывший дом еврея Лазаря, подаренный императором Карлом университету.

Рядом с этим домом гость с удивлением заметил крепкие, железом обитые воротца, перегораживавшие узкую, уходящую к северу улочку. Его спутник сообщил ему, что это один из шести проходов в еврейский квартал. Из последующих слов Домшика пан Броучек понял, что эта часть го-

рода занимала тогда гораздо более скромное пространство, чем теперь, и в ту эпоху даже имела склонность к уменьшению, потому что иудеям не разрешалось селиться за ее пределами, а дома их иной раз переходили во владение христиан. Наш герой призадумался: да, многое с тех пор переменялось! Квартал раздался вширь, прочные ворота превратились в легкое ограждение, наконец сыны Израиля прорвали эту сетку и... Янек от Колокола удивился бы несказанно, если бы, перенесшись в современную Прагу, увидел библейские лица в окнах красивейших домов на центральных улицах и в каждом втором магазине города.

Наши путники шли дальше по старой Праге, но у меня нет возможности проследить во всех деталях их увлекательный путь, ибо книга моя от того превысила бы объем, для издателя, а быть может, и для читателя, приятный. Тот, кто захочет мысленно совершить такое паломничество, пусть возьмет «Историю Праги» Томека, а также его «Основы старой топографии пражской», и если не пожалеть времени на прилежное изучение предмета и призвать на помощь чародейку-фантазию, то восстанет от пятисотлетнего смертного сна и раскроется перед тобой вся древняя Прага, улица за улицей, дом за домом, во всей своей средневековой живописности, с ярмарочным оживлением и хмурой тишиной кладбищ вокруг бесчисленных церквей и церквушек, из коих одни вовсе исчезли с лица земли, первоначальная красота и прелесть других безвкусицей последующих столетий

до неузнаваемости изуродована, а иные, пришедшие в состояние жалостного запустения и разрухи, вынуждены предлагать остатки своей великолепной готики торговцам и старьевщикам для их складов и мерзких берлог.

Здесь я скажу лишь, что наши герои после длительного блуждания по городу вышли на перекрестье улиц, из которых одна, недалеко перетянутая цепью, напомнила пану Броучеку о приключениях минувшей ночи. Его провожатый объяснил, что воинские начальники велели многие улицы перегородить колодами и цепями, чтобы сдерживать натиск врагов, если бы им удалось прорваться в город. В конце мая на помощь королевскому войску прибыл отряд чешских дворян-католиков; они везли с собой даже топоры, чтобы рубить препятствия. Но Жижка разгромил их под Овенцем и с прочими трофеями забрал у них также топоры.

Пройдя эту улицу, которая тогда, как и теперь, называлась Долгой, путники свернули на север и пошли по Гончарной, как назвал ее Янек от Колокола, но в которой пан Броучек распознал по ее положению нынешнюю Козью.

Наш герой все перекладывал свою сулицу с плеча на плечо; теперь уже оба плеча болели, и он нес сулицу отвесно, опираясь на нее при ходьбе, как на палку, хотя трость получилась очень неудобная. При этом он мысленно вопрошал всех разумных людей, не величайшая ли глупость таскаться по городу неизвестно чего ради с такой мачтой, и яростно ударял нижним концом копья о выщербленную мостовую.

Не обращая внимания на то, куда ступает, пан Броучек вдруг угодил древком в самую середину большой лужи, так что брызги взметнулись фонтаном, изрядно окропив его плащ и штаны, – в точности так, как это случилось ночью.

Ему ничуть не было жаль этой взятой взаймы одежды, но он не мог сдержать досады при виде грязи на улицах, которая при свете дня оказалась еще ужасней, чем он предполагал во время своих ночных блужданий.

Вдоль улицы была проложена канава, по которой бежала вода, стекавшая по желобкам от домов; всюду лежала грязь, застарелая и свежая, мусор, черепки, отбросы и многое другое, еще худшее. Пан Броучек апеллировал к Янеку, но древнечешский мещанин лишь пожал плечами.

– Кто станет в это бурное время заниматься такими мелочами, – сказал он. – В иные дни мы заботимся о чистоте города. Существует указ насчет того, что свиней все повинны держать у себя по домам, что на улицу запрещается выливать горшки с нечистотами и выбрасывать падаль и что всяк обязан в три дня после объявления убрать улицу перед своим домом; если грязи слишком много, община сама вывозит ее на берега Влтавы. Конечно, многие не выполняют эти распоряжения и в мирные времена.

Процитированный указ о содержании улиц в чистоте (идуший в pendant к одному рифмованному немецкому «юности честному зерцалу» средневековья, по которому негоже в обществе за едой зубы ножом чистить и утирать нос

скатертью) заставил пана Броучека вновь мысленно испросить прощения у господ городских советников за все упреки, сделанные им когда-либо в их адрес. Если бы наши современные пражане, фыркающие на метельщиков, которые поднимают днем на самых оживленных улицах города облака удушающей пыли, на кучи грязи и снега, несколько дальше, чем следовало бы, украшающие края тротуаров, и на тому подобную чепуху, – если бы эти неженки заглянули одним глазком в Прагу пятнадцатого столетия, они на коленях благословляли бы небеса, ниспославшие им заботливое общинное управление!

Но вдруг пан домовладелец застыл на месте. На правой стороне улицы он увидел дверцу, створки которой, кроме всего прочего, были украшены коваными птицами в венках. Дверца перекрывала вход в узкую крытую улочку, ведущую между двумя домами к третьему, большому строению позади – короче, все говорило за то, что он случайно набрел на исходный пункт своего ночного путешествия.

– Не знаешь ли, дружище, куда ведут эти двери? – спросил он, весь горя.

– Эти двери? – сказал Янек от Колокола. – Ты, конечно, заметил длинный фронтон дома перед поворотом на эту улицу? Это бывший двор короля Вацлава, прозванный «У черного орла»; он тянется позади всех этих домишек с левой стороны, вдоль всей Гончарной, а сюда крытым переходом выходит боковая дверь.

– А король Вацлав тут уже не живет? – нетерпеливо спросил пан Броучек.

– Да разве ж я не говорил тебе о его смерти?! Он умер год назад, внезапно пораженный ударом, и дом его теперь пустует. Примерно с неделю назад мы поселили в нем часть людей из Табора, прибывших к нам в подкрепление, но на днях Жижка вывел их из города на Виткову гору.

– И теперь королевский дом пустой?

– Совершенно пустой.

Сообщение Домшика немало взволновало пана домовладельца. Сказочный клад снова был в его руках.

По-видимому, из-за внезапной смерти короля никто не узнал про тайную комнату, ибо в противном случае в это бурное время клад постарались бы перенести в более безопасное место; и табориты тоже не пронюхали об укрытом богатстве. Он единственный знает о нем и легко может пробраться в пустующий дом. Можно хотя бы набить карманы драгоценностями, что подороже, и если, бог даст, он вернется в свое девятнадцатое столетие, у него будет прекрасное вознаграждение за эту дикую гуситскую авантюру, разве что драгоценности превратятся в сухие листья – но такое бывает только в сказках...

И даже если ему суждено застрять в этом средневековье до конца своих дней, то и здесь таким богатством не следует пренебрегать. «Тин везде господин», – как сказал Домшик, и в любом случае гораздо приятнее просто стричь купоны,

нежели промышлять на жизнь каким-нибудь ремеслом, даже если это дегустация вин.

Янеку от Колокола пришлось напомнить гостю, что пора двигаться дальше.

Они пошли через Старый угольный рынок, теперешнюю Козью площадь, а затем по улице, ведущей на север и завершающейся по правой стороне садами великолепного монастыря Св. Анежки. Домшик сообщил пану Броучеку, что клариски¹⁹ сейчас, в это грозное время, переселились в Паненский Тынец²⁰, и перечислил пражские монастыри, которые частью были разрушены гуситами, частью разорены, частью же, после изгнания ненавистных монахов, для других нужд приспособлены. Пан Броучек в душе этот погром и разорение очень не одобрил; но автор сих строк как раз припоминает, что обитель благословенной Анежки, сия драгоценнейшая жемчужина древнего нашего зодчества, пережившая гуситскую бурю, в эпоху «просвещенную» была варварски осквернена и превращена в склады вонючих тряпок, – судьба, постигшая и другие бесценные памятники нашего отечества, к стыду эпохи, кичащейся своей любовью к предкам и к искусству.

Когда наши путники вышли за монастырским садом на берег Влтавы, пан Броучек был поражен открывшимся пе-

¹⁹ Клариски – монахини ордена св. Клары.

²⁰ Паненский Тынец – селение, расположенное километрах в пятидесяти на северо-запад от Праги.

ред ним зрелищем.

Крутой летненский склон на том берегу был по большей части покрыт остатками виноградников, по-видимому недавно разоренных. На Марианский бастион и королевский летний дворец Бельведер не было и намека; всюду по холмам тянулись лишь виноградники и сады – до самого Града пражского, который выглядел совсем не так, как теперь. Правда, пан домовладелец узнал Черную и Белую башни, Далиборку, обе башни базилики Св. Иржи, хотя все они чем-нибудь – крышей ли, или какой другой деталью – отличались от нынешних: особенно ему бросилось в глаза навершие Черной башни, сверкающее на солнце, будто крытое золотом, но башню храма Св. Вита, право, было трудно узнать: она была выше, чем теперь, не имела куполообразного завершения, но увенчивалась высокой остроконечной гонтовой крышей. И весь храм тоже был крыт гонтом и тянулся дальше на запад, как если бы там уже стоял новый неф Мокера или, скорее, как если бы на том месте храм Св. Вита был пристроен к остаткам другой церкви, на что указывал другой стиль и вторая башня этой западной части. И королевский Град имел совсем иной, особый облик, а за Градом не виднелся характерный дом Шварценбергов; зато весь нынешний градчанский квартал был окружен могучими стенами, словно крепость.

А что Малая сторона, хотя отсюда можно было видеть лишь ее небольшую часть? Казалось, она занимает на-

много меньшее пространство, чем теперь, будучи обнесена толстой, хотя местами и разрушенной крепостной стеной со множеством башен, но вся она была подобна гигантскому пепелищу. И Страговский монастырь наверху тоже выглядел огромной руиной.

Каменного моста и того, что за ним, отсюда не было видно. Но пан домовладелец недосчитался тут и Цепного моста, и моста Франца-Иосифа, и виадукса железной дороги.

Однако всю эту картину он окинул лишь беглым взглядом, ибо его внимание почти сразу было привлечено зрелищем, открывавшимся на гребне Летны. Это было зрелище поистине невиданное. На горе по всей ее протяженности раскинулся целый город из шатров и палаток, над которыми развевались бесчисленные хоругви и флажки, помеченные красным крестом. Лагерь этот прямо-таки кишел воинами – кто в пестрых одеждах, кто в железных латах. Шлемы, панцири, бесчисленное оружие – все это грозно сверкало в лучах солнца. Над толпами воинов вздымалось великое множество длинных пик, также украшенных флажками с красным крестом; местами скопления копий напоминали густой лес.

Там и сям можно было разглядеть какие-то орудия, из рычагов, цепей и колод составленные; Домшик объяснил, что там находятся луки, арбалеты, большие пращи и прочие орудия для метания на город огненных бочонков и стрел, тяжелых камней и прочих снарядов. Он показал ему также места, где стоят верховые и ломовые пушки, пищали, гарматы

и прочие разные стенобитные орудия, порохом стреляющие, коих у неприятеля изобилие. Однако Зикмунд не позволял до сей поры употребить в дело тяжелые пушки, поддавшись будто бы на уговоры чешских дворян в его лагере не губить без нужды собственный город.

Дальше Домшик сказал, что и у пражан есть гарматы и ломовые пушки, что могут ответить неприятелю тяжелым ядром, железным либо каменным. «Пражка» стреляет каменными ядрами в пятьдесят фунтов весом, а «Яромирка», «Быстрая», «Тараторка» и «Трубачка» не намного ее легче. «Здесь у нас стоят лишь пушки поменьше», – добавил он, указывая на несколько малых орудий особой формы, расположенных на берегу неподалеку от них. И здесь, на пражской стороне, былолюдно: повсюду стояли толпы воинов и любопытных, живо переговаривающихся между собой и указывающих куда-то на тот берег, в направлении Малой стороны.

Пан Броучек представлял себе Сигизмундово войско совершенно иначе, более похожим на современную регулярную армию, но все-таки ему стало как-то не по себе перед таким множеством сверкающего старинного оружия, в пределах досягаемости этих пращей и гармат, хотя б это были всего лишь неуклюжие допотопные мортиры. Поэтому он малодушно отступил назад и старался держаться как можно ближе к углу монастырского сада, чтобы в случае опасности быстро найти себе там укрытие.

Его спутник тем временем рассказывал ему, что лагерь

на Летне – лишь часть Зикмундова войска: тут расположились только немцы баварские и рейнские. Второй лагерь, с войском князей мейсенских, лежит за ними, ближе к Королевскому заказнику у Овенца; в полях у Голешовиц – стан Альбрехта Австрийского с его людьми, а на другой стороне, ближе всего к Граду пражскому, – четвертый лагерь, образованный по большей части из угринов и силезцев. К ним следует еще причесть сильный королевский гарнизон в Граде пражском и на Вышеграде.

– Но это же тьма народу! – воскликнул пан Броучек.

– Столь много воинов из разных стран христианских никогда еще не собиралось вместе, – подтвердил Янек от Колокола. – Чуть не весь христианский мир ополчился на нас; на призыв папы римского и за обещанные бумажки с отпущением грехов ринулись к Зикмунду огромные толпы крестоносцев из ближних краев и из дальних: немцы, угрины, валахи, французы, англичане, гишпанцы, голландцы и прочие другие народы, также хорваты, болгары, русины, поляне и иные народы языка славянского, да еще изменники – всех вместе, наверное, сто пятьдесят тысяч воинов.

– Сто пятьдесят тысяч – но это же ужасно! А вас сколько?

– Всех городских обывателей, считая сюда и женщин с детьми, при короле Вацлаве в Праге было примерно сто тысяч. Но с уходом немецких студентов и иностранных купцов, ибо захирела торговля в наше бурное время, с бегством или изгнанием пражских немцев и чехов-изменников, духо-

венства белого и черного с разномастной челядью, многих дворян и слуг магнатов, а также прочими разными способами умалилось это число весьма и весьма, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что на нашей стороне может сразиться, считая помощников из окружных сел, примерно пятая часть от количества крестоносцев.

– Боже ты мой: один против пятерых! Да к тому же почти сплошь ремесленники и крестьяне, как ты сам говорил! Ну скажите мне, люди добрые, как вас осенило выступить против такой силищи?!

Домшик нахмурился:

– А что прикажешь делать? Может, сдаться этому Зикмунду?

– Есть хорошая поговорка: «Лбом стену не прошибешь», или еще: «Не можешь перепрыгнуть – подлезь». Ведь вам не обязательно сразу сдаваться на милость и немилость победителя. Может, чешские дворяне замолвят за вас словечко, и вы добьетесь каких-нибудь уступок...

– Знай, я стыжусь этого и всеми силами тому противился, но пражане дважды уступали неблагородному королю, прося лишь свободного причащения вином и хлебом. И знаешь ли ты, как Зикмунд принял послов наших? Чтобы оскорбить их, заставил стоять перед собой на коленях изрядное время, а затем ополчился на них, нанося обидными словесами и требуя без оговорок снятия всех цепей и колод, а во второй раз, при переговорах в Кутных горах, приказыв-

вая сдать и все оружие. Тогда только поняли и самые осторожные среди нас, что не остается ничего, кроме как взяться за оружие. Сейчас, имея при себе огромное войско крестоносцев, он еще менее был бы склонен к уступкам. Он жаждет жестоко покарать нас за бунт и с корнем вырвать и растоптать учение Гусово. И даже если бы он мнимо согласился с нашими требованиями, верь, добившись власти над нами, он вероломно нарушил бы обещания, так же как он подло поправ собственную свою охранную грамоту, магистру Гусу выданную.

Пан Броучек молчал, зная, что Янек от Колокола не послушает разумных речей; но про себя он проклинал ослепление пражан, столь неразумно стремящихся к верной гибели. Это же чистейшее безумие! Сто пятьдесят тысяч крестоносцев играючи раздавят горстку мятежников, а их артиллерия на Летне разнесет весь город вдребезги...

В эту минуту крики и движение в толпе перед ними привлекли их внимание к противоположному берегу Влтавы, к тому месту, на которое уже и раньше все поглядывали и показывали друг другу. К реке, примерно там, где сейчас находится сад Иезуитов, спустился большой отряд королевских солдат и теперь живо продвигался в направлении Малой стороны.

Домшик быстро объяснил своему спутнику, что, похоже, из монастыря Св. Томаша либо из Саксонского дома у мостовой башни, которые наряду с немногими другими

зданиями уцелели в Малом городе, во время боев пражан с королевским гарнизоном пражского Града полностью разрушенном и сожженном, выбежала кучка отважных горожан, чтобы сразиться с неприятелем. И в самом деле, вскоре навстречу солдатам показалась невеликая кучка гуситов, в обычной одежде и только цепями вооруженных, и враги сошлись в яростной схватке. Толпы на старогородской стороне сопровождали бой своих заречных сотоварищей громкими возгласами, а из тех, что стояли у Влтавы с самого дальнего левого края, где были какие-то мельницы и две плотины тянулись через всю реку, многие попрыгали в лодки, причаленные к берегу, чтобы поспешить к ним на помощь. Но не успели они оттолкнуться от берега, а судьба схватки уже была решена. Горстка гуситов, без панцирей и шлемов, так яростно наседала на закованных в латы крестоносцев, молотя их своими железными цепями, что те, оставив немногих убитых, бежали к оврагу над Бруской, а гуситский отряд с триумфом возвратился в Малый город под ликующие крики пражан на правом берегу.

Но и с другой стороны, на Летне, поднялся крик и шум. Крестоносцы столпились у самого края горы, грозя пражанам оружием и кулаками, натягивали арбалеты и вообще вели себя как бесноватые. Даже издали были отчетливо видны яростные гримасы их искаженных злобой лиц. Многие, приложив ладони рупором к губам, чтобы было слышно на этом берегу, выкрикивали какие-то слова, и вскоре до пражан до-

несся сотнями голосов скандируемый оскорбительный клич немцев: «Га, га! Гус, Гус! Гусь, гусь! Е-ре-тик, е-ре-тик!»

Одновременно толпа у одного из механизмов расступилась, и из него вдруг вылетел целый пучок здоровенных стрел, нацеленных на то место, где скопилось больше всего пражан, которые, однако, мгновенно расступились, и лишь двое были легко ранены. Одна из стрел просвистела рядом с головой пана Броучека и врезалась в стену сада, так что осколки камня полетели во все стороны...

С перепугу пан домовладелец выпустил из рук свою сулицу и с минуту стоял ни жив ни мертв. А потом он что было духу опрометью помчался переулком вдоль монастырской стены и остановился, лишь завернув за угол ограды, где полагал себя в безопасности от стрел неприятеля. Он был белый как мел, и ноги под ним так тряслись, что ему пришлось присесть на камень у стены. Дрожащей рукой утирал он крупные капли пота на своем перепуганном лице. Через некоторое время перед ним появился Домшик, держа в руке его сулицу.

– Куда ты запропал? – воскликнул он. – После выстрела немцев я потерял тебя на минуту из виду, а потом напрасно искал повсюду; нашел на земле едино сулицу твою.

– Не думаешь же ты, что я должен торчать там для них мишенью, чтобы они прошпиговали меня стрелами, как святого Себастьяна! – возмутился пан Броучек.

Янек от Колокола улыбнулся, но потом согласно кивнул:

– Ты почти прав. Что нам тут делать? Просто поддразнивать врага пустая трата времени, а настоящего боя на этом краю не будет. Отсюда королевские войска будут лишь поддерживать стрельбой атаку с других сторон. Пока же они облегчают душу глупым криком и насмешками, от которых с наших крыш и черепица не упадет, а иной раз – таким вот безобидным пучком стрел, какой они послали на нас из пращи или большого арбалета. Пока они не обмакнут стрелы в серу, не обмотают просмоленным полотном и не подожгут на дорожку, мы можем встречать их смехом. Ну что ж, бери свою сулицу и пойдем дальше!

С угрюмым взглядом принял пан домовладелец сулицу, которую он был бы счастлив покинуть навсегда, но зато второе предложение пришлось ему очень по вкусу, и он так проворно поспешил оставить небезопасное место, что Домшик едва за ним поспевал.

Когда они наконец замедлили шаг, древний чех продолжил начатый разговор:

– Там, за рекой, ты мог своими глазами убедиться, что пражане нимало не страшатся Зикмундова войска. Что ни день выбегает их такая горстка сразиться с врагом – без доспехов, с одними цепями, и обращает в бегство куда более сильные отряды закованных в броню и вооруженных до зубов крестоносцев. И наши сельские помощники уже у Судомержи, да и в других местах показали, что и горстка их может одолеть целое войско железных рыцарей. На-

сколь слабее мы числом и воинским снаряжением, настоль, и с лихвой, восполнит это наш пламенный порыв, и верю, твердо верю, бог не оставит нас в нашей праведной битве; суждено ли иначе – ну что ж, умрем, сознавая, что мы стойко защищали свое самое драгоценное достояние и честь свою до последнего вздоха.

Пан Броучек пропускал мимо ушей эту речь, занятый своими собственными заботами. Несносная сулица была нестерпимо тяжела, узкие штанины впивались в тело, сапоги жали, а полуденное солнце нещадно жгло, так что пот с него катил градом, а язык распух от жажды.

Он почти ничего не замечал вокруг, пока они не вышли к каким-то воротам, перед которыми по левой стороне раскинулось высокое прекрасное здание. На его вопрос Домшик объяснил, что здесь кончается Целетная улица и что этот дом – второй королевский двор, называемый «У святого Бенедикта», а ворота ведут в Новый город, ко рвам.

– От Целетной улицы ко рвам? – воскликнул пан Броучек. – Но тогда это должны быть Пороховые ворота!

– О Пороховых воротах я впервые слышу, – отвечивал Домшик. – Эти ворота мы называем «У святого Амброжа», или Рассветные, потому что они обращены на восток.

Так пан Броучек узнал, что Пороховая башня тогда еще не была построена, и живо прошел в ворота, – ему было любопытно узнать, как выглядела в гуситские времена эlegant-

нейшая улица Праги, гордые Пршикопы²¹.

Он не рассчитывал на особое великолепие, но даже самые скромные его ожидания были обмануты. За воротами оказался мост, ведущий через широкий ров, и картина за ним была столь непохожа на современный облик этой части города, что пан Броучек застыл в полном изумлении.

В тех местах, где сейчас от Пороховой башни начинаются фешенебельные Пршикопы, не было вообще никакой улицы! По правой стороне подымалась мощная зубчатая стена, отгораживавшая, как огромная крепость, Старый город от Нового и тянувшаяся, изгибаясь, как пояснил Домшик, вокруг всего Старого города до самой набережной. Перед этой стеной проходил глубокий ров, прерывавшийся единственно у нынешней улицы Гавиржской, где в городской стене были проделаны ворота и ров перед ними засыпан; из теперешней улицы На Мосточке выход тогда был через ворота по мостику через ров; на мосту стояли друг против дружки два домика, закрывая вид на теперешнюю улицу Овощную и дальше.

Единственно на другой стороне стоял против стен Старого города длинный ряд домов, весьма импозантных, но своей средневековой разномастностью совершенно не похожих на трезвые строения новомодных Пршикопов. Перед домами во всю длину нынешнего пражского проспекта текли мутные воды.

²¹ Пршикопы – буквально: рвы.

«Боже ты мой! – подумал про себя пан домовладелец. – Кто бы мог в этой дикости заподозрить будущие Пршикопы!...»

Мысль его метнулась назад – или, собственно, вперед – в девятнадцатое столетие, и перед ним возник сияющий проспект, оживленные толпы элегантных господ и дам – ослепительных, кокетливых, выставляющих себя напоказ и подвергающих друг друга перекрестному огню критики, жонглирующих пенсне и тросточками, шуршащих дорогими тканями, щебечущих на сладчайшем немецком языке... Он с глубоким вздохом возвратился в гуситскую эру. Хмурые крепостные стены высятся там, где за ярко освещенными окнами шикарного кафе посиживали, то есть, вернее, будут посиживать, длинноносые спекулянты, и пестрая смесь причудливых древнечешских домов толпится напротив, там, где гордо вознесутся отель «У черного коня» и здание немецкого казино.

Примерно в ту сторону указал Домшик со словами:

– Глянь-ка, вон тот дом принадлежал Жижке, когда он служил королю Вацлаву.

Он повел гостя дальше, на Поржичи. По дороге он показал ему с правой стороны Горские ворота с двумя башнями наверху, которые стояли в конце нынешней Губернской улицы, и большой монастырь Св. Амброжа, стоявший на месте нынешней главной таможни, слева же, в западной части нынешней Жозефовской площади и Элишкиной улицы, – сте-

ны и рвы Старого города, которые и с этой стороны доходили до реки. В крепостной стене на небольшом расстоянии друг от друга были сделаны четыре прохода: малые ворота из королевского двора и большие ворота в конце улицы Св. Венедикта (ныне Краледворская) и Долгой улицы, а кроме того, также еще ворота у Влтавы. Домшик подчеркнул, что сейчас стены и ворота Старого города против Нового утратили свое значение: оба города выступают заодно, и потому из всех ворот охраняются, да и то только в ночное время, лишь двое крайних, у Влтавы. Броучек подумал, что во время своих ночных блужданий он приблизился как раз к одним из этих двух ворот – а именно к воротам на конце Долгой улицы.

Они свернули на улицу, ведущую к Поржичским воротам. Мученик сулицы шагал, опять погруженный в мрачные мысли. Он изнемогал под бременем невзгод, которые мы выше уже перечислили, и прикидывал, не пора ли уже как-нибудь исхитриться, чтобы ускользнуть от своего неудобного хозяина, и одному попытаться найти свое счастье в Праге либо выбраться из нее через какие-нибудь ворота – что в средневековом платье было вполне возможно.

Но вдруг его размышления были прерваны вмешательством проклятой сулицы, которая наверху за что-то зацепилась. Взглянув туда, он обнаружил, что крючки сулицы попали в какие-то железные завитки, свисавшие с железной жерди над входом в один из домов.

– Опять чушь какая-то! – рассердился Броучек.

– Ты же видишь, это знак корчмы, – объяснил Янек от Колокола, помогая ему выпростать сулицу из завитков железной жердины, на конце которой пан Броучек лишь сейчас разглядел раскачивающийся хвойный венок, украшенный пестрыми ленточками.

Лицо Броучека чудным образом просияло.

– И вправду, корчма! – воскликнул он. – И сама меня остановила, словно чувствуя, что я умираю от жажды. Это перст судьбы – надо пойти.

– Будь по-твоему; если ты жаждешь, пойдем, выпьем чарку, – согласился Домшик, за что я ему искренне признателен, ибо полагаю, что мой читатель уже сыт по горло сухомяткой моих постных описаний старинных пражских улиц.

IX

Через сводчатую дверцу вошли они в дом; наш копейщик с осторожностью пронес свое оружие по узкому коридорчику и в двери налево, распахнутые настежь по случаю летнего времени; они вступили в прохладный погребок со стрельчатым потолком, изящные нервюры которого заканчивались внизу тесанными из камня гротескными головками.

Пан Броучек не был поражен простотою трактирчика. К кирпичным полам он уже привык и не удивлялся, что всю меблировку составляли два похожих на козлы простых деревянных стола, некрашенных и ничем не покрытых, по бокам единственного окна, выходящего на улицу, да четыре длинные, очень грубо сработанные лавки, из коих две, за столами, были прибиты к стене, а две другие, с длинной спинкой, спереди к столам приставлены. Упомянутое окно помещалось в глубокой нише толстой стены, как в туннеле, и было так мало, что сквозь него проникал и падал на столы лишь слабый свет, в то время как остальная часть комнаты была погружена в таинственный полумрак, – и это было летом; каково же бывает зимой, если оконную раму, сейчас пустую, затягивают от морозной сырости каким-нибудь пузырем!

На полке над дверьми стояли глиняные миски и горшки, а на приступочке и узком столе в третьем углу – разнообразные деревянные, глиняные и оловянные кубки, жбаны и кув-

шинчики; четвертый угол занимала здоровенная печь. Особенно же отличалась древнечешская корчма от наших современных кабаков полным отсутствием едкого табачного дыма, без которого сейчас просто невозможно представить себе настоящий трактир.

За одним столом сидели трое мужчин, за другим – тощий безбородый юнец в серой драной одежке с выдавшим виды зеленым капюшоном; на шее у него висел замызганный кошель, за широким поясом заткнуты какие-то таблички и несколько гусиных перьев, а на нем привешено что-то напоминающее маленькое почерневшее кадило, – без сомнения, средневековая чернильница. Кто сможет припомнить описание бедного школяра в древнечешских виршах о школяре и подконюшем, сразу узнает в этом посетителе трактира его родного брата.

Навстречу вошедшим поднялся один из мужчин и дружески приветствовал Янека от Колокола.

– Я ходил к Поржичским воротам поглядеть, что нового, – сказал он, – и вот разговорился и познакомился с Мирославом, Золотых дел мастером с вашей стороны, из Старого города, да вот с Вацеком Бородатым из наших союзников жатецких. Все мы, от жары изнемогаючи и жаждой одолеваемые, зашли согласно выпить по чарочке на доброе здоровье и во славу божию. Выпей и ты с нами и присядь за наш стол с товарищем твоим.

– Матей, прозванием Бурчок, гость мой из далеких стран,

но чех и пражанин урожденный, – представил Домшик своего спутника, который в это время с глубоким вздохом осторожно ставил в угол свою сулицу.

– Будь здоров, Мацек! – приветствовали пана Броучека мужчины и протянули ему свои кубки.

Пан Броучек слегка нахмурился, услышав это более чем панибратское обращение, но, будучи уже знаком с дурными средневековыми манерами, отпил чуточку из одной чаши и нашел, что она содержит крепкое вино темно-красного цвета, очень приятное, хотя и несколько странноватое на вкус.

– Допивай! – подбодрил его Мирослав, Золотых дел мастер.

Пану Броучеку очень хотелось пить, поэтому он не стал отнекиваться и одним духом осушил вместительный кубок.

– Ну, ты питух хоть куда! – воскликнул Вацек Бородатый. Этого пан Броучек уже не мог стерпеть.

– Я бы попросил не обзывать, – отрезал он, оскорбленный до глубины души. – Я вам не петух!

– Ты чего это! – удивился Вацек. – Неужто гневаешься, что я тебя питухом назвал? «Добрый питух – добрый битюк», говорят у нас на Жатчине. И воистину, ежели ты так бьешь, как пьешь, ты и впрямь весьма кстати воротился. А потому, по старой поговорке, пей-пей, да смеху не пропей, милый Мацек!

– Мое имя – Броучек, и при крещении меня нарекли

Матеем, – значительно произнес раздраженный пришелец из нового времени, не прикасаясь к кубку, придвинутому к нему жатечанином.

Теперь уж рассердился Вацек.

– Ты пошто брезгуешь моим угощением?! – вскричал он, засверкав очами. – Потому ли, что я простой землепашец?

– Вы не поняли друг друга, братцы, – стал утихомиривать их Янек от Колокола. – Мой гость, Вацек, пробыл много лет на чужбине и немного подзабыл чешскую речь. Ты же, гость, уведай, что Мацек у нас не обидное обращение. Так мы изменяем все имена в обычной беседе. Вот мой родич Войтех – он отнюдь не бедняк в Новом городе, но всяк зовет его просто Войта от Павлинов, как меня – Янек от Колокола; и Мирослав тоже обиды не поймет, ежели ты назовешь его просто Миреком; от Вацлава обычное уменьшительное Вацек, ну а от Матея – Мацек.

– А у вас что же, и фамилий нет? – осведомился пан домовладелец, немного успокоившись.

– Почему, бывают, и довольно часто, у кого по отцу – вот как Павел Петров, или по ремеслу, как Мирослав, Золотых дел мастер, или по месту жительства, как Войта и я, или по какой-нибудь особенности – как вот тут Вацек Бородатый из-за своей длинной бороды, ну и прозвища разные есть.

– Но тогда у вас бывает, что отец и сын именуется по-разному?

– Понятно, бывает. Редко какое прозвание остается на-
совсем в семье... Но теперь опрокинь Вацекову чару, а ты,
корчмарь, принеси и нам чего-нибудь выпить.

– Вино все – есть только медовуха.

– Медо... – начал было пан Броучек с жестом величайше-
го отвращения и, привстав, повернулся в том направлении,
где стояла его сулица, будто собираясь уходить.

– Тебе что, мой мед не по вкусу? – рассердился корч-
марь. – А между тем ты выпил до дна уже вторую чашу.

И указал на кубок Вацека, который пан домовладелец
только что осушил, послушавшись своего спутника.

Пан Броучек вытаращил глаза.

– Это... это была медовуха?

– Ну да! Ты что, меду не пил? – удивлялись, посмеиваясь,
древние чехи.

– Теперь я понимаю, почему ты от него нос воротил, –
сказал Домшик. – Ты, видать, думал, что это простой непере-
бродивший мед, какой из сот вытекает. О, мед – приятней-
ший наш домашний напиток, и жалости достойно, что в на-
ши дни число его любителей все более и более убывает.

Наш современник был вынужден признать, что до той по-
ры легендарный рыцарский напиток представлялся ему раз-
новидностью сладкого дегтя, и посему воздал ему теперь
хвалу наивысочайшую. Настроение его вообще стало улуч-
шаться. После мучительных хождений по жарнице – с сулицей,
в тесных сапогах – так приятно посидеть в свое удоволь-

ствие в прохладном кабаке, да и две чаши, им выпитые, тоже, по-видимому, способствовали восстановлению его сил, телесных и душевных.

В мыслях он, правда, посокрушался немного: «Ах, Броучек! В какое общество ты попал! Если бы твои знакомцы по «Викарке» или по «Петуху» увидели тебя в компании с этим мужичьем!»

И в самом деле, его знакомцы весьма косо посмотрели бы на посетителей древнечешского трактира. Тут сидел ошеломленный в прямом смысле этого слова Домшик, чья внешность нам уже знакома; затем его родич из Нового города – Войта от Павлинов, квадратный силач, имевший при себе, помимо шлема, кольчугу, а помимо меча – короткий железный молот, лежавший перед ним на столе; затем Мирослав, Золотых дел мастер из Старого города, бодрый, несколько склонный к полноте дяденька лет под пятьдесят, одетый так же, как Домшик, только без шлема; его чудная, закрученная улиткой шапка, которую он снял с лысеющей головы, висела на углу щита, стоявшего за ним у стены рядом с большим арбалетом, а вместо меча у него на боку висел лишь широкий тесак в украшенных золотом ножнах; далее сидел селянин из-под Жатца Вацек Бородатый, невелик ростом, но широкоплечий, с короткой бычьей шеей, огромными руками и бородой по пояс, в нескладной, плетеной из грубой соломы шляпе, домотканой рубахе ниже колен и кожаной обуви наподобие лаптей, вооруженный лишь здоровен-

ной палицей, густо усаженной длинными шипами.

К этой компании очень подходил и сам пан Броучек в епанче и кукуле, уже упоминавшийся потрепанный безбородый юнец школярского вида, сидевший за другим столом, и корчмарь, коренастый толстяк с бритым темно-красным лицом, в расстегнутом полукафтани и короткой юбке, с тесаком у пояса, как раз принесший вновь наполненные кубки.

Пану Броучеку пришлось выпить также за здоровье Войты от Павлинов, а третья чарка привела его совсем уж в отличное расположение духа. Но вместе с тем у него снова разыгрался аппетит.

Он ухватил выходящего хозяина за юбку и попросил меню, но тут же поправился, догадавшись по изумленному взгляду корчмаря, что вновь впал в новочешское заблуждение, и спросил, есть ли что на кухне.

– Пищи никакой нету, – отвечал корчмарь, – только рыба соленая.

Ну что ж, гость заказал соленую рыбу. Он не ожидал ничего особенного, но, когда принесли рыбу, не мог сдержать разочарованного возгласа: «Да ведь это же обыкновенный геринк!»

– Да, мы тоже так называем селедку, – подтвердил корчмарь.

– Уже среди пословиц пана Фляшки есть такая: «Не сажай дурака за геринки», – подчеркнул Мирослав, Золотых дел

мастер²².

– Но нам все ж таки следовало бы помнить наставление Гуса и выбросить это немецкое словечко, ровно как и «фертохи», «панцири», «мазгаузы», «ментени» и прочие иностранные слова-уроды, которые вызывали негодование нашего святого учителя, – добавил Вацек Бородатый.

– Но, прости, – повернулся к нему пан Броучек, – если ты такой истовый чех, то тебе там, в Жатце, среди чистокровных немцев, должно быть несладко?

– Да ты чего это: в Жатце – и вдруг чистокровные немцы? – возмутился Вацек. – Да если бы везде в Чехии были такие верные чехи, как жатецкие! Я не городской, я из деревни под Жатцем, но и за нами далеко – все чешское. Да ты глянь на мою шляпу, – добавил он с усмешкой, – и припомни старую шуточную поговорку: «Узнаешь богемца по соломенной шляпе».

После минутного молчания Мирослав, Золотых дел мастер, произнес:

– Поведай нам, Матей, как говорят о нас, чехах, в иных странах?

– Сказать по правде, – пробурчал пан домовладелец, трудясь над селедкой, – не очень-то нас любят.

– Могу поверить, – усмехнулся Войта от Павлинов. – Красноречивое тому свидетельство мы зрим там, за рекой:

²² Геринк (от нем. *Hering*) – селедка. Приведенная пословица означает: «Не поступай необдуманно!»

войско крестоносцев, собранное против нас со всех концов земли.

– А я слышал, в иных землях нас не только еретиками обзывают, но и мерзкие басни про нас выдумывают, будто мы поклоняемся злему духу в образе белого агнца либо черного жука, – вмешался в разговор корчмарь.

– Типун им на язык, лгунам бесчестным! – воскликнул Янек от Колокола.

– Помните, как в Священном Писании: «Блаженны есте, еща поносят вам...», – проговорил Войта от Павлинов и добавил: – А еще пословица есть: «Много надо б полотна, чтобы всем закрыть уста». Пусть себе за горами говорят, что им любо: зато здесь, на земле Чешской, мы своим хулителям, бог даст, ответим так, что навеки умолкнут!

– Однако кто бы не горевал, что имя народа чешского отдано на поругание и поношение всему христианскому миру! – со вздохом возразил Мирослав, Золотых дел мастер.

– Э, да ты говоришь так, будто жалеешь, что мы отвергаем иго Зикмундово и верно стоим за Чашу, – укорил его Войта.

– Насчет моей верности учению Гусову ни у кого сомнений быть не может, а что я думаю про Зикмунда, лучше всего доказывает вот это, – энергично защищался Мирослав, указывая на свой арбалет и щит. – И все ж таки мне горько, что наследник короны чешской злодейски выступил против нас и что церковь противится чистой вере божией.

– И что ж нам остается делать, как не сражаться до послед-

ней капли крови, защищая мечом нашу правду против церкви, короля и всего мира! – воскликнул Войта от Павлинов.

– И я готов отдать за это жизнь, – продолжал защищаться Золотых дел мастер. – Но опасаясь, что и победа не остановит пагубных раздоров, обрушившихся на нашу землю, ибо подорвали мы старые земские устои, напридумывали разных новых учений, кои что ни день возникают в храбрых головах наших священников и даже простых смертных, сея рознь и среди нас, защитников Чаши.

– Вот именно! – отозвался вдруг тонким и резким голосом тощий юнец, поднимаясь из-за стола. – Корень зла и неизбывная скверна земли нашей в том, что многие люди суетные, и особливо священники таборские, что ни день новые еретические придумки оглашают и сеют в народе против чистого учения наших магистров пражских.

Вслед за этими словами раздался столь страшный удар, что пан Броучек от испуга весь затрясся: это Вацек Бородастый хватил кулачищем об стол и гневно рявкнул на юнца:

– Пошто, школяр безбородый, срамишь священников таборских?

– Хоть я и безбородый, а в писании начитан и могу вести диспут о чем угодно с бакалаврами и магистрами, – дерзко возразил школяр. – И я могу яснее ясного на писании, Отцах церкви, книгах магистра Гуса и трактатах самого Виклефа доказать, что все священники таборские против истинной христианской веры согрешают, и особливо...

– Молчи, невежа противный! – осадил его резко Вацек. – Тряси своим суетным умишком в школе, где еще не одну березовую метлу о твою спину обломают. Знай, что и я держусь учения священников таборских и никому не позволю хулить его, тем менее тебе, шалыга тощий!

– Оставь школяра в покое, – заступился за юнца Мирослав, Золотых дел мастер. – Я и сам так думаю, что заблуждаются табориты, отступая от учения Гусова, заводя всякие разные новшества, которые нас не токмо навсегда от церкви соборной отторгнут, но и нарушат весь исстари заведенный порядок. Уже не хотят они и короля над собой, ни другого кого властелином, права князей, дворян и прочих не признают, достояние и имущество у них отнимают. И более того – уже рушат и жгут не токмо монастыри, но и храмы божьи, крушат алтари, рвут ризы, разбивают священные сосуды, статуи и мощи святых предают поруганию...

– Потому как идолопоклонство это – молиться распадающимся костям и куклам, рукою человека созданным, – резко отвечал Вацек. – И разве не читаем мы в писании, что грядет час, когда люди молиться будут не во Иерусалиме и не на горе Гаризим, а в духе и истине? И сей час настал для нас, познавших истину. Не нужно нам храмов, ни алтарей, мы везде молимся в сердце своем. И не нужны нам ложные установления людские: чистые законы веры мы носим в наших сердцах. В царстве божием нет ни господ, ни рабов, а токмо братья и сестры, любящие друг друга и разделяющие между

собой все блага земные. А вот твое сердце, Золотых дел мастер, привержено презренному металлу сильнее, чем правде небесной. Боишься, что с искоренением греховной суеты мира уменьшится твоя прибыль, потому-то и защищаешь ты драгоценные дароносицы, позолоченные фигурки и шитые золотом и серебром поповские ризы...

– Честно заработанное за грех не почитаю, – запальчиво возражал Мирослав. – Но не ради выгоды защищаю я дароносицы и ризы, а лишь ради славы божией и благолепия святой литургии, коим достойно служит дорогой металл блеском своим, рукой творца приданным.

– Истинно глаголешь, – нетерпеливо перебивая, поспешил ему на помощь школяр и начал говорить, как на учебном диспуте. Он состроил серьезную мину и, видимо, копируя какого-нибудь старого седобородого магистра, проводил большим и указательным пальцами по своим впалым щекам от глаз под самый подбородок, будто действительно оглаживал длинную бороду: – Так велит устав христианский служить святую обедню, будучи сам сложен из наилучшей истин и молитв святителей, как из перлов святых драгоценных и из слитков золотых и дорогих камней истины и веры христианской, почему и подобает ему по праву божественному внешнее драгоценное убранство. А что касается облачений, так отрицающие их путаники таборские не только глубоко заблуждаются, но и память самого Виклефа оскверняют, ибо он до дня своей смерти служил литур-

гию в облачении, а в книгах «De Eucharista»²³ в главе четвертой ясно говорит, что...

– Пошел ты со своей недозрелой ученостью, – прервал его рассуждения Войта от Павлинов. – Знай, что я тоже во многом согласен с таборитами.

– Вас, новгородских, и впрямь скоро обратит в таборитскую веру ваш бешеный поп Ян Желивский: она ему очень по душе! – воскликнул Мирослав, Золотых дел мастер.

– Яна Желивского ты мне не трожь, слышишь? – крикнул Войта, задетый за живое. – Не то я так отвечу, что кое у кого бока затрещат!

– Перестаньте, друзья, – пытался утихомирить ссорящихся Янек от Колокола. – Не время сейчас браниться; сейчас нам надобно держаться заодно, чтоб отбить врага. Ведь все мы равно стоим за Чашу и за свободу нашей веры, а в чем расходимся мы, того не решишь ссорой в корчме: пусть серьезно об том потолкуют духовные лица с обеих сторон. До той поры никто никого не смеет называть путаником, тем более из-за церковных облачений.

– Но облачения принадлежат к основным установлениям церкви, – опять завел свое настырный школяр. – Разумеется, табориты и церковь самое предают поношению, все постулаты ее нарушая, невзирая на то, что говорит Беда в главе «Quicumgue», а святой Августин в главе «Omnis catholicus» и в главе «Ita fit», а к тому же и в главе «Sic enim». Хм-хм...

²³ «О таинстве причастия» (греч.).

«Et ponitur»...

Он замолчал, видимо забыв, что к чему, и, вынув из-за пояса свои таблички, начал прилежно их изучать.

– А что ты думаешь про облачения? – обратился Золотых дел мастер к пану Броучеку.

Последний между тем укреплял свое знакомство с медовухой, открывая в ней все новые и новые приятные свойства. И если старая чешская пословица говорит: «Хмель – ирой», то медовуху, пожалуй, следовало бы назвать богатыршей. Новочешский питух чувствовал, как с каждым глотком в его жилы вливается огневая кровь, а в сердце рождается дивная отвага; он позабыл о всех опасностях средневековья, и даже что-то воинственное появилось в его взгляде. Его первоначальное недовольство тем, что эти древние чехи и в корчме не могут найти более разумного предмета для разговора, чем политика и даже религия, рассеялось, и он ощутил в себе острое желание вмешаться в их спор. Удар Вацка кулаком по столу сначала испугал его, однако очередной глоток вновь придал ему смелости, так что теперь на вопрос Мирослава он ответил весьма решительно:

– Право, я вам удивляюсь, братцы: как можно спорить о таких вещах? Ну что за служба без облачений? Так разве бараны²⁴ служат...

Тут случилось что-то такое с паном Броучеком, что

²⁴ Непереводимая игра слов (от чешск. «berani», как позднее называли протестантов).

в первую минуту он даже толком не осознал, но отчего разом улетучился весь его геройский дух. Железная рука сгребла его за шиворот, перед носом качнулась палица с длинными шипами, а в ушах прогремел яростный голос: «Я тебе покажу баранов, махмуд паршивый!»

Эпизод в корчме грозил кончиться весьма печально, но с одной стороны Домшик вовремя схватил за руку поднявшего палицу рассвирепевшего селянина, а с другой подоспел корчмарь.

По счастью, с улицы вдруг донесся тревожный крик и грохот. Вацек невольно разжал руку, отпустив шею пана Бручека, и все обратились в слух: сквозь шум толпы снаружи доносились удары колокола.

– Это на ратуше бьют в набатный колокол! – воскликнул Домшик.

Корчмарь, выбежавший между тем в коридорчик, тотчас воротился, взволнованно объявив: «Крестonosцы переправились через Влтаву на Госпитальное поле и едут к Поржичским воротам!» Все посетители, забыв о ссоре, разом вскочили и, хватая оружие, крикнули почти хором: «На врага!» Лишь школяр все еще прилежно переворачивал свои таблички. Корчмарь, забежав в какой-то темный угол, вернулся с деревянным, утыканным гвоздями ядром, прикрепленным цепочкой к короткой ручке.

– Эй, школяр, – крикнул он, протягивая ему оружие, – вот тебе лучший довод в эту минуту!

– Ты полагаешь, я не сумею постоять за себя и в таком диспуте? – гордо парировал школяр и схватил предложенное оружие.

Домшик вынул кошелек, но корчмарь, обнажив свой тесак, уже выбежал на улицу.

Что с ним в ту минуту происходило, пан Броучек не может как следует припомнить; будто в тумане видится ему, как Янек от Колокола сует ему в руки сулицу, а грозный Вацек машет у него за спиной шипастой палицей. Хотя почти наверняка этот жест не относился к пану Броучеку, а был адресован немцам-крестоносцам, с которыми нетерпеливый воин мысленно уже мерился силами, пан домовладелец все же предполагает, что глубочайшее почтение к этой палице было основной причиной, побудившей его в тесной кучке посетителей выбежать из корчмы на улицу.

Во всю ее ширь мчалась, как бурная река в половодье, жаждающая битвы толпа пражан, вопящих, сталкивающихся, размахивающих всевозможным оружием, не обращая внимания на предостерегающие окрики военачальников; и этот ревуший неодолимый поток разом захлестнул и понес горстку людей, выбежавших из корчмы. Пан Броучек был влеком вперед почти в бесчувствии. Он признавался мне впоследствии, что в ту минуту был ни жив ни мертв; ни единой мысли в голове – лишь смертельный ужас, нестерпимый страх; он, конечно, был бледен как мел, волосы его стояли дыбом, на лбу выступил холодный пот, колени дрожали, и он даже

будто бы стучал зубами.

X

Наш герой (теперь я могу назвать его так с полным правом) был в буквальном смысле слова вытолкнут за недалекие Поржичские ворота толпой жаждущих боя пражан, с громовым криком «Ура, Прага!» мчавшихся навстречу врагу.

Все прочие чувства пана Броучека в эту минуту отступили перед смертельной тоской, которая заставляла его стремиться в направлении, полю боя противоположном; но прихлынувшие за ними новые могучие толпы гнали его все вперед и вперед, а с боков, как в клещах, сжимали его Янек от Колокола и Войта от Павлинов.

Так очутился он за воротами и на мосту, ведущем через широкий ров городских укреплений, и был увлечен толпой дальше, на равнину, что простиралась на месте нынешнего Карлина между рекой и Витковой горою нынешним Жижковым – и называлась Госпитальным полем. Были тут по большей части поля, в ту пору уже – раньше, чем обычно, – скошенные, и редкие домишки с огородами, раскиданные там и сям; примыкая к круто падающему склону Жижкова, тянулись обширные сады и виноградники. На гребне горы виднелись два четырехгранных деревянных сруба, а между ними стояло войско таборитов под черной хоругвью с красной чашей.

Правда, наш герой не мог уделить особого внимания окру-

жающей местности; пылица, поднятая стремительно несущимися людьми на широкой дороге, протянувшейся от ворот через Госпитальное поле, застилала взор, не говоря уже о невыразимом страхе, орошавшем его чело каплями холодного пота. Однако через какое-то время он смог хотя бы свободно дышать; за воротами толпа спешащих воинов раздалась вширь, разбилась на кучки, а затем по одному, и каждый, мчась что было мочи, старался перегнать остальных. Янек от Колокола и новгородский мещанин быстро оставили позади нашего суличника, который в силу ряда веских причин не слишком торопился. Он пробивался на правый край, не обращая внимания на тычки и удары, которые доставались ему от тех, кто бежал позади и кому он был помехой. Наконец ему удалось выбраться из густой толпы в поле.

Вернуться назад, в город, он, разумеется, уже не мог, ибо и Поржичские, и Горские ворота, замыкавшие нынешнюю Гибернскую улицу, извергали на поле боя новые и новые вооруженные толпы; но он углядел виноградники под склоном Жижкова, и инстинкт самосохранения погнал его туда, где он мог найти безопасное укрытие.

Тут он вдруг увидел, что навстречу пражанам по Госпитальному полю катит огромное облако пыли, в котором, как молнии, блистают мечи, копья, железные латы. Крупной рысью приближался отряд всадников, с головы до пят закованных в броню, с развевающимися султанами на шлемах; одни уже нацеливались длинными копьями, на которых бы-

ли флажки с красными крестами, другие размахивали большими мечами. Со страшным ревом неслись они на гуситов, и в своем чудовищном железном убранстве, придававшем им свирепый вид, для пана Броучека совершенно непривычный, казались нашему герою уже не людьми, а грозными летящими призраками.

Кровь застыла в его жилах, и от ужаса он на мгновение оцепенел, будто прикованный к земле.

Всадники уже сошлись с первыми толпами пражан, и пану Броучеку явилась прекрасная, но одновременно исполненная ужаса картина: в облаках пыли перемешались пешие и конные воины, пестрые одежды пражан – с блестящими доспехами немцев, алые чаши, вышитые на груди у гуситов, – с пурпурными крестами на флажках крестоносцев, гривы коней развевались, мелькали мечи и наконечники копий, летали в воздухе ошетилившиеся железные цепи и палицы, и страшный стук и звон оружия сливался с криком бойцов, топотом и ржаньем лошадей в оглушительный шум.

Однако пражане сопротивлялись недолго. Они выбежали из города нестройной толпой, слишком растянулись и рассеялись, передние оторвались от бегущих сзади и потому столкнулись с превосходящей силой вражеской конницы. Несколько человек упали, остальные, видя тщетность сопротивления, обратились в бегство, внося сумятицу в задние ряды бойцов, вынуждая и тех к беспорядочному отступлению; всадники с победным рыком устремились вперед, подобные

грозовой туче, повергая пражан на землю и гоня перед собой оробелых...

Еще до неблагоприятного поворота событий пан Броучек вышел из столбняка и продолжил свой бешеный бег в направлении виноградников, но тут вдруг одно из железных чудищ замахнулось на него, и, прежде чем он смог осознать грозящую опасность, над ним блеснуло смертоносное копье...

О золотая, о дражайшая сулица! Ты, нелюбезным хозяином своим стократно в геенну огненную посылаемая, на бреге влтавском им вероломно покинутая, ты, градом обидных имен и сравнений осыпаемая! – ныне ты одна-единственная великодушно защитила от смерти моего героя! И ежели стоишь ты сейчас где-нибудь в музее среди ржавого гуситского оружия, я желал бы прийти поклониться тебе, облобызать благодарно твоё червями источенное древко, что сохранило народу величайшего из путешественников, мне же – благодатный источник гонораров и славы!

Да, в роковую минуту ты хорошо показало себя, прославленное оружие божьих воинов, ибо мой герой на бегу споткнулся об тебя, рухнул через твоё древко, распластался на земле, а конь с железным рыцарем могучим прыжком перелетел через упавшего, даже копытом не задев, и врезался в гущу других пражских бойцов.

Да, пан Броучек был среди тех нескольких павших, о коих упоминает история, живописующая этот короткий бой; од-

нако история не упоминает, поскольку ей это неизвестно, что один из павших снова поднялся – правда, не тотчас. Ибо наш герой довольно продолжительное время оставался – за какую поправку отечественная история должна быть ему признательна – недвижно лежать на земле, подобно бездыханному трупу. В первое мгновение он, похоже, и вправду со страху лишился чувств, а когда пришел в себя, решил сохранять неподвижность по вполне понятной причине, полагая, что и самый жестокий враг не будет столь жестокосерд, чтобы протыкать пикою мертвое тело.

Почти не дыша, он прислушивался к шуму битвы, которая, по счастью, откатывалась от него к городским воротам. Наконец он рискнул одним глазком глянуть туда и увидел, что всадники все еще гонят перед собой гуситов и их внимание обращено в ту сторону. Это вызвало прилив героической смелости, и он слегка переместился, после чего опять принял позу бездыханного тела; затем, снова взглянув в сторону неприятеля, повторял свой маневр. И так он полз, пресмыкаясь, дальше и дальше в направлении виноградников, помогая себе локтями и коленями, с величайшей осмотрительностью, чтобы его продвижение было как можно менее заметно.

При этом мысль его была устремлена к защитному крову виноградника, но в тот момент в нем уже созрело убеждение, что лучше всего временно переселиться из осажденной Праги на Виткову гору к Жижке, где он будет находиться

под защитой его крепкого лагеря хотя бы до тех пор, пока восстание в Праге не будет подавлено.

С таким намерением пан Броучек осторожно полз все дальше и дальше и был уже недалек от виноградников, когда, оглянувшись, обнаружил, что дело на поле боя приняло новый, неожиданный оборот. Новые, мощные толпы пражан, на этот раз уже построены в ряды и предводительствуемые гейтманами, хлынули из Поржичских и Горских ворот, и вражеская конница, не дожидаясь их, резко поворотила коней и стала отходить к реке.

Вдруг совсем близко, с той стороны, где были виноградники, слышались шаги и голоса, и пан Броучек тотчас обратился в живой труп.

От виноградников шли, переговариваясь, двое вооруженных мужчин, и можно уже было различать слова.

– Смотри-ка, немцы убираются восвояси, за реку, – сказал один. – Зикмунд, видать, хотел проверить, как пражане готовы к обороне.

– И начало было плохо, – добавил другой. – Они выбежали со всей горячностью, без гейтманов своих, для боя не построенные, и передние столкнулись с конницей, их намного сильнейшей и потому с легкостью их отбившей. Ну, пусть им это хоть послужит наукой на будущее... Смотри-ка, вот лежит один и, кажется, еще дышит.

Пан Броучек, понявши по речам собеседников, что перед ним табориты, окончательно очнулся от своей мнимой смер-

ти и с тяжелым вздохом приподнялся.

Он увидел перед собой высокого плечистого мужчину в шлеме. Это был, по-видимому, военачальник – в руке он держал железный молот; рядом с ним стоял человек, телом тощий и лицом бледный. Но черные глаза его пылали страстью, черная одежда, черный берет, шевелюра и борода иссиня-черные, как вороново крыло, – все это резко контрастировало с прозрачной бледностью кожи и произвело на пана Броучека какое-то зловещее впечатление; на боку у мужчины висел длинный меч, под мышкой он держал какую-то книгу в толстом кожаном переплете.

– Ты ранен? – спросил человек с молотом.

– Возможно, у меня и имеются какие-нибудь внутренние повреждения, – простонал пан Броучек, – или же я был только оглушен...

– Смотри, на епанче твоей кровь, – указал мужчина.

– Кровь! – в ужасе воскликнул наш герой и разом вскочил. К его изумлению, плащ действительно, был в крови, и пан Броучек начал судорожно обследовать себя – уж не получил ли он каким-нибудь таинственным образом рану; однако раны он не обнаружил, да и не чувствовал ничего, чтобы указывало на справедливость сего кошмарного предположения.

Кровь на епанче пана домовладельца, по-видимому, навеки останется неразрешенной загадкой. Был ли то мед, пролитый в корчме и на фиолетовой ткани напоминавший кровь,

или стрела которого-нибудь из пражан задела вражеского коня в тот миг, когда тот пронесился над упавшим Броучеком, и кровь его обрызгала епанчу, или Броучекова сулица в падении каким-то удивительным способом задела коня и произвела это чудо; эти вопросы, без сомнения, включит в число своих вечных загадок муза истории Клио.

– Где твое оружие? – задал новый вопрос человек с молотом.

– Право, не знаю, куда оно девалась, – отрекся неблагодарный от своей сулицы, по счастью находившейся достаточно далеко, чтобы пан Броучек не опасался вновь с ней встретиться. – Я замахнулся... – и, вдохновленный пришедшей ему в голову счастливой идеей, которая должна была вывести его из трудного положения, пан Броучек вдруг обнаружил талант эпического сказителя, продолжив: – Замахнулся я на всадника, галопом на меня мчавшегося, и вонзил его что было силы коню в бок; конь взвился на дыбы и... и...

– И копытом оглушил тебя, – закончил мужчина. – А меч твой застрял в боку у коня или же выпал из твоей руки и кто-нибудь его поднял.

– Да, наверное, так оно и было, – охотно согласился наш герой. – Поскольку я был оглушен, то и не знаю, что со мной дальше происходило.

– Но как ты попал сюда, так далеко от прочих?

– Я забежал вперед, желая ударить на крестonosцев с фланга, – уже без зазрения совести лгал пан Броучек, ко-

торому эта критическая минута сообщила остроту мысли необыкновенную.

– О, так ты и хитрости военные придумываешь – прямо гейтман из тебя! – усмехнулся человек с молотом. – Но, пожалуй, ты и впрямь парень отважный, хотя вид у тебя не очень-то боевой.

Наш герой проглотил «парня» с досадой, однако обиду уравнивало признание его отваги, так что он, будучи человеком скромным, покраснел. Теперь, когда прямая опасность миновала, он в самом деле ощущал в себе некий огонек геройства и потому взглянул на обоих мужчин почти без страха.

– Но почему ты так плохо говоришь по-чешски? – продолжал человек, задававший вопросы. – Ты что, из тех немцев, которые примкнули к учению Гусову?

Пан Броучек решительно воспротивился зачислению его в немцы и вновь повторил свою байку о длительном пребывании в чужих краях, откуда он лишь недавно возвратился на родину.

– Помочь землякам в трудной битве? – спросил мужчина с молотом; глаза его тепло засияли.

Броучек неуверенно кивнул.

– Ты мне и впрямь нравишься, дружище!.. А что думаешь ты, отец Вацлав?

– Скажи, придерживаешься ли ты учения пражских магистров? – спросил пана Броучека священник-таборит.

Как читателю известно, наш герой решил на время перейти от пражан к таборитам, и потому он ответил так:

– Сказать по правде, пражане не очень-то мне по душе. – И, озаренный внезапной идеей, вспомнив о споре в корчме, с живостью добавил: – И еще, я против церковных облачений...

Этим он разом покорило сердце таборского священника.

– Против всех этих балахонов и прочих остатков римского идолопоклонства! – воскликнул тот одобрительно. – Если так, то тебе не место среди пражан – ты наш! Гейтман Хвал оценил также и твою храбрость – значит, ты будешь достойным братом-таборитом.

– Конечно, пойдем с нами на Виткову гору, – подтвердил Хвал.

Броучек согласился и отправился вместе с Хвалом Ржепицким из Маховиц, таборским гейтманом, и прославленным священником Вацлавом Корандой (полные имена коих он узнал позднее) по тропинке, ведшей среди виноградников вверх, на нынешнюю гору Жижкову.

XI

Гейтман Хвал шагал впереди, Коранда же шел рядом с новоиспеченным таборитом, излагая ему попутно свою систему взглядов, включающую отмену постов, церковных праздников, молебствий к святым, поминовения усопших, отказ от латыни при богослужении и прочие разделы учения таборитов.

Чем дальше они шли, тем более рассеянно слушал его пан Броучек; даже муки в огне чистилища, по многим доводам относимые Корандой к области вымысла, не воспламенили его дух, и он мысленно посылал своего занудного спутника куда-нибудь поближе к отрицаемому им чистилищу. Вообще этот священник был ему несимпатичен. Тощее тело, бледное лицо, лихорадочно блестящие глаза, да в придачу огромный меч на боку – нет, положительно это не компания для пана домовладельца. «Чистый угодничек божий!» – сказал он себе.

Лишь однажды прервал священник свой рассказ и, остановившись, впери в Броучека свой пламенный взор с такой силой, что наш герой от страха задрожал мелкой дрожью.

– Ты что глядишь на меня так странно? – строгим голосом спросил Коранда.

– Я – ничего, ваше преподобие, право же, ничего, – растерянно стал оправдываться пан Броучек. – Я только подумал,

до чего же огромный меч у вас за поясом.

– Ты что, собираешься мне глаза колоть моим мечом? – воскликнул священник.

– Я... вам... я тебе, глаза колоть?.. – растерянно, заикаясь, повторял наш герой, который, конечно, не сообразил, что древний чех употребил выражение «кому чем глаза колоть» в значении «открыто упрекать кого-либо в чем-либо».

– Да, я также мечом препоясываюсь в дни, когда даже одна лишняя рука может решить исход боя за наше святое дело, – торжественно произнес Коранда, – но если б настала минута той крайней нужды, если б руки мои, божью службу совершающие, осквернились пролитием людской крови, никогда бы уж больше не коснулись они потира с божественной Христовой кровью! («Старые чешские летописи» сообщают, что Коранда действительно поступил в соответствии со словами, пану Броучеку сказанными. Этот таборский священник первым на приснопамятном сходе у Малых Крестов обратился к народу, сказав, что пришел час оставить страннический посох и взять в руки меч; он был при тяжком сражении у Судомержи и при иных многих битвах; это он водил вооруженный люд на монастыри и вдохновлял его на дело погубления, и это его много лет спустя, встретив в Таборе уже старцем, Эней Сильвий назвал «старым орудием дьявола»; так вот, еще в тот же 1420 год отец Коранда перестал служить, и до дня своей смерти не служил литургии, потому что в Пршибеницах, защищаясь вместе с другими, сбрасы-

вал с башни вниз на врага камня и подозревал, при этом мог кого-то лишить жизни.)

После эпизода с мечом священник продолжил изложение своей религиозной доктрины, но пан Броучек уже совсем не слушал. Его занимало другое.

Сначала он весьма охотно полез в гору, но чем выше он поднимался, тем ниже падало его настроение. Ему приходили на ум правдивые и неправдивые истории, слышанные им о Жижке: гвозди, что забивал грозный слепец в тонзуры католических попов; несчастные жертвы, собственноручно убитые им булавой или будто бы сожженные живьем по его приказу в какой-то ризнице, и многое тому подобное. Поэтому пан Броучек со все возрастающим страхом ожидал момента, когда предстанет он пред грозным вождем таборитов.

На гребне горы, на самом краю его, обращенном к Праге, стоял четырехгранный деревянный сруб с бойницами внизу и наверху, где он расширялся, образуя укрытие для ведения навесного огня, окруженный стеной из камней и глины, а также рвом. Но наши путники, еще не поднявшись до уровня сруба, обогнули склон и вышли на заднюю, южную часть горы, к нынешнему Жижкову обращенную. Оттуда был уже виден и другой деревянный сруб, тоже воздвигнутый на гребне горы, несколько восточнее первого, и также защищенный стеною и рвом. Возле него возвышалась какая-то башня, образуя угол одного из огороженных участков виноградника, покрывающего этот южный склон.

– Ежели ты хочешь стать военачальником, как можно судить по твоему нападению на немцев сбоку, то у Жижки ты пройдешь наилучшую школу, – с усмешкой обратился Хвал Ржепицкий к пану Броучеку, когда они карабкались по крутому склону, через покореженные виноградники, вверх на гребень горы. – Смотри, как он быстро и дешево соорудил здесь первоклассную крепость, как хитроумно огородился и окопался! Наше войско расположилось на узком гребне горы между двух срубов, защищенное ими с востока и запада; с полночной стороны надежной защитой служит ему падающий отвесно, совершенно неприступный склон горы, да и этот, южный склон, как ты видишь, довольно крут, и к тому же мешают врагу виноградники и их каменные ограды. Жижка своим единственным глазом все умеет живо разглядеть и все к достижению целей своих приспособить; глянь, и та башня у виноградника пригодилась ему, чтобы лучше укрепить восточный сруб.

Тем временем они приблизились к гребню горы и вышли из виноградника через пролом в разрушенной стене. Тут пан Броучек увидел перед собой войско таборитов.

На пространстве между двумя срубами пестрел народ: мужчины, женщины и подростки. Лишь малая часть мужчин была в панцирях и шлемах, большинство же носило полукафтаны – кожаные или суконные, короткие юбки, штаны и сапоги либо лапти с обмотками; некоторые одеты в рубахи, в плащи, на головах же капюшоны, нескладные шляпы, мох-

натые шапки. У многих на груди было пришито изображение чаши, вырезанное из красного сукна. Оружием им служили сулицы, копья, окованные железом цепи, палицы, арбалеты, мечи; кое-кто имел большие продолговатые щиты из дерева, по большей части кожей или парусиной обтянутые и раскрашенные. Оружием подростков были кожаные ручные пращи для метания камней. Женщины и девушки были простоволосы или же в длинных платках, удерживаемых на голове матерчатыми полосками, в полотняных рубахах и простых юбках, лишь иногда в кафтанчиках или плащах. Лица их были столь же смуглы, как и лица мужчин, а фигуры статны и взгляд смел и искрометен.

Некоторые все еще толпились на северном краю горы, откуда они, по-видимому, наблюдали за ходом боя на Госпитальном поле, другие сидели, оживленно беседуя о только что закончившейся стычке; группа женщин, мужчин и подростков снова принялась за работу возле сруба, достраивая последний участок стены укрепления. Среди толпы можно было заметить нескольких священников, выделявшихся длинными бородами, но одеждой мало чем отличавшихся от прочих; некоторые держали под мышкой Библию, кое-кто и чашу в руке.

И над всей этой разноцветной живописной толпой реяло, на высокой жерди поднятое, длинное черное полотнище с изображением красной чаши.

Хвал из Маховиц подвел нового таборита к полковод-

ду – у него еще был тогда целым один глаз. Держа на коленях свою железную булаву, Жижка сидел, как на престоле, на большом валуне у самого края горы, выдававшейся здесь клином, и зорко вглядывался в лагерь врага за Влтавой, куда как раз возвратилась немецкая конница.

Чем ближе подходил к нему пан Броучек, тем больше трепетал при мысли, что сейчас он встретится с грозным вождем таборитов, и когда наконец очутился перед Жижкой, страх застил ему взор, так что теперь он не может описать ни вид его, ни одежду, о чем следует сожалеть тем более, что в старинных источниках мы до сих пор понапрасну ищем бесспорно верное описание облика величайшего героя нашего народа.

Достопамятная встреча Яна Жижки с Матеем Броучеком была краткой.

Хвал сказал так:

– Веду тебе нового таборита, брат Жижка; мы с отцом Корандой встретили его внизу, на поле Госпитальном, где он вместе с пражанами отважно бился с врагом, и по его просьбе принят в число братьев.

Дрожащий Броучек ощутил, как зоркий Жижкин глаз испытующе в него вперился, и затем услышал его звучный повелительный голос:

– Сдается мне, что до сих пор ты более служил своей утробе, нежели богу. Но ничего, у нас ты живо порастрясеешь свой грешный жир. Как твое имя?

– Матей Броучек, – с трудом вымолвил пан домовладелец дрожащими губами.

– Ну что же, брат Матей, гейтман Хвал возьмет тебя к своим цепникам и обучит приемам нашего боя; а теперь иди помоги тем, что работают на стенах. Будь здоров!

Хвал с Броучеком отошел к отряду цепников, приветствовавших кто словом, кто рукопожатием нового брата, а потом отвел его туда, где достраивали стену.

– Ты, брат, мужик сильный, можешь подносить камни, – приказал он ему и воротился к своей дружине.

Брат Матей был хоть и рад, что представление Жижке сошло благополучно, но работа, полученная вместе с напутствием, не вызывала в нем ни малейшего восторга. «Хорошенькое гостеприимство, – ворчал он про себя. – Подносить камни, как поденщик! Даже солдату такое не положено. Пожалуй, я сделал порядочную глупость. Пражане все-таки умеют уважить гостя. Янек от Колокола, конечно, в прочих отношениях ненормальный, но на дурной прием если – забыть «каморку» для гостей – я пожаловаться не могу. Сейчас, после стычки, я мог бы спокойно попивать в корчме медовуху, а то сидеть у Домшиков за полным столом. Да, сглупил я, ах, как сглупил!» Вскоре он понял, что и работа его была отнюдь не игрой. Ему пришлось поднимать такие валуны, что он даже сгибался под их тяжестью, а брат Стах, старый седобородый таборит, которому Жижка поручил надзор за работниками, все время его поторапливал. Измучен-

ный уже хождением по Праге, волнениями боя и подъемом на Виткову гору, он теперь должен был трудиться как раб в этот зной, так что руки и ноги разламывало, а по воспаленным щекам стекали струйки жаркого пота. Вдобавок таборонок смешали его жалобные вздохи и скорбные жесты.

В жизни он не прикоснулся к грубой работе – а теперь был вынужден надрываться, как последний чернорабочий на стройке. Он, владелец четырехэтажного дома! О, если бы кто-нибудь из знакомых увидел его за этой черной работой! Пан Броучек чуть не плакал.

Когда их труд был наконец окончен, он в изнеможении, как мешок, рухнул в траву у края отвесной северной стены. С горькой жалостью разглядывал он свои руки – все в царапинах и кровавых мозолях.

Когда же он немножко отдышался и освежился под вечерним ветерком, то с грустью устремил свой взгляд вниз, на равнину. Ему припомнилось, как совсем недавно, в девятнадцатом столетии, прогуливаясь, он забрел на Жижков и как раз с этого места с удовольствием наблюдал воинские учения у дома Инвалидов, взирал на оживленное предместье Карлин, на светлую реку с нескладными допотопными судами, которые тянули вверх по течению битюги, на веселый пейзаж с Либенью, голешовицкими фабриками, Стромовкой, благодатной для виноградников Троей, приветливой Пельц-Тиролькой. Боже ты мой, какая страшная перемена! Перед ним открывается тот же пейзаж, та же самая жи-

вописная излучина Влтавы, за нею темный фон лесов Ладви и пологие холмы, тянущиеся отсюда до самой Подбабы, – все то же самое! Но насколько ж иначе выглядит этот край в пятнадцатом столетье!

Вместо дома Инвалидов и Карлина – голая равнина с немногими разбросанными там и сям домишками: позади, на холмах, от крохотной деревушки Либень до самой Подбабы, – сплошные виноградники; вместо голешовицких фабрик – лишь широкие поля у малой деревеньки, а на них военный лагерь; другие обширные лагеря – на Летне, у Овенца и Стромовки, где тогда был Королевский заповедный лес, и поближе, у Града пражского, все пространство за рекою покрыто воинскими шатрами и палатками, кишмя кишит солдатами и лошадьми, щетинится копьями, блистает всевозможным оружием, трепещет знаменами и мельтешит красными крестами. Единственное в своем роде, великолепное зрелище военного муравейника!

Лишь теперь в полной мере смог оценить пан Броучек ту страшную силу, которой в своем ослеплении дерзнули воспротивиться пражане и эта горстка таборитов. Он никак не мог взять в толк подобное безрассудство и твердил себе, что все они тут просто с ума посходили.

Старый брат Стах, присевший рядом с ним, вдруг заговорил, будто прочитав его мысли:

– Тебя пугает число врагов, брат мой, и, может быть, ты считаешь безумием, что мы ждем победы над такой силой.

Но ты не был в бою у Судомержи, как я, не видел яростной грозы железных рыцарей, тучей нахлынувших на нас, кучку селян, в броню не одетых, коих единственной крепостью и защитой было двенадцать возов да господь бог... Более пяти их приходилось на каждого из наших, и на копытах коней своих хотели они нас разнести... Обаче господь приказал солнцу, дабы раньше поры закатилось за гору, и во тьме бились враги меж собой, и, перемолотые нашими цепами, обратились в позорное бегство... Ты не был у Некмерка, брат мой; ты не слышал грозного стука наших цепов, когда мы били королевское войско у Поржичи... И верую, бог даст, подлый Зикмунд покажет спину, вместе со всей своей сворой мейсенцев, тюрингенцев и баварцев и прочих злобных выродков колена германского, и со своими угринами, и иными прочими племенами и народами, собранными со всего света... Господь с нами, и он благословил оружие наше, потому что видит – сердца наши чисты, и знает – мы бьемся не корысти и не славы ради, а лишь обороняем свою землю и святую правду.

Брат Матей – как и мы будем теперь именовать пана Броучека – дал отдых своим измученным членам. Зато теперь в нем заговорил другой неумолимый враг – голод, чему не подивится тот, кто припомнит все его злоключения начиная с раннего обеда у Домшика и тот факт, что за все это время он съел одну-единственную селедку. Им овладела нетерпеливая тоска по ужину, и он опять пожалел о своем от-

ступничестве от учения пражских магистров, вспомнив отменныя кушанья заботливой Мандалены и мало чего ожидая от таборитской полевой кухни. Он горько упрекал себя за то, что не принял во внимание столь важное обстоятельство.

А словоохотливый брат Стах продолжал после недолгой паузы:

– Я благословляю господа, что дозволил моим старым глазам узреть пору спасения. Жизнь моя проходила в тяжком труде и унижении; видел я, как господин притесняет своего подданного, богатый – бедного, а брат немилосердно обирает брата в заботах лишь о собственной выгоде и удобстве, в погоне за греховными, суетными утехами; я видел, что и священники, со словами о любви к богу и своему ближнему на устах, душою устремлены к жалким земным наслаждениям и любят только себя, мечтая о власти и богатстве, распутничая и торгуя отпущениями грехов. Я слышал, что гнездовьем скверны стали и высшие светочи христианства, и сказал себе: близится время, когда во грехах своих погибнет мир... Но тут взошла звезда над Вифлеемом, небесная звезда, и в сиянии ее я возликовал, встречая зарю искупления... И там, в малом замке Козьем, увидели очи мои учителя, богом посланного, и уши мои услышали из чистых уст его слово вечной правды... И когда весть о его мученической смерти донеслась до меня, я потряс кулаком, заскрежетал зубами, оковал свой цеп железом и навсегда оставил свой домишко и поле. Одну лелею надежду: отдать жизнь свою

за светлую правду. Старая моя рука уже едва подымает цеп, и все ж таки в трех битвах я махал им в самом первом ряду. Мечи и стрелы врагов будто отклоняются от моей седой головы: ни капли крови своей не пролил я еще за веру. Ныне же слышу внутренний голос, что будет бой из всех ужаснейший и в нем найду я славную смерть за Чашу и закон господень.

– А когда мы будем ужинать? – несколько невпопад осведомился брат Матей.

Старец оторопело взглянул на него, не в силах тотчас же войти в русло беседы, столь резко повернувшее от дел небесных к делам сугубо житейским. Потом он молча вынул из сумы, висевшей у него на поясе, краюшку черного хлеба и сыр и, подавая то и другое Броучеку, сказал:

– Прими от меня мой ужин. Я до него едва дотронулся. Старый желудок мой слабеет день ото дня, и я уже почти не нуждаюсь в земном пропитании. Впрочем, этого в нашем лагере довольно. Конечно, лишь самая простая пища: грешно б нам было откармливать изысканными яствами это брренное вместилище души и будущую пищу червей.

Брат Матей нерешительно принял хлеб и сыр и, нахмурившись, мрачно глядел на еду. «Хорош ужин, – бранился он про себя, – кусок казенного хлеба, черного как земля и жесткого как подметка! И сыр – да если б это хоть был приличный сыр, а то стыдно сказать что. Я думал, дадут хотя бы кусок мяса с каким-нибудь казенным кнедликом... Броучек, Броучек, где была твоя голова?..»

Голод все же принудил его приняться за черствый хлеб, от которого заныли десны, и откусить также, подавив отвращение, сыра, оставившего во рту неприятный вкус и жгучую жажду.

– А где тут можно чего-нибудь выпить? – спросил он малодушно.

Брат Стах отстегнул от пояса и протянул ему круглую деревянную фляжку.

Брат Матей принял ее с недоверием и отхлебнул самую малость; но тут же лицо его скривилось, он отнял ее от губ и вскричал:

– Да ведь это же чистая вода!

– Конечно, свежая божья водица. Я совсем недавно почерпнул ее внизу, у родничка.

– А пива нету?

– Было сегодня, да уже кончилось. Жижка заботится, чтобы братия имела иной раз глоток пива для укрепления сил. Конечно, при переходах мы пьем обычно только воду. Но ежели идем в какой-нибудь дружественный город, Жижка посылает туда человека с письмом: «Так и так, бог даст, мы к вам скоро пожалуем, а вы приготовьте нам хлеб, да пиво, да торбы овса коням», и братья собирают это к нашему приходу. Каждый охотно отдает все, что у него есть. Ведь мы же одна семья детей божьих. Что крестьянин, что рыцарь – все братья. Никто не хочет возвышаться над другим или жить лучше прочих. Каждый печется обо всех. Деньги,

вырученные за проданные свои имения и наделы, насыпали в бочки, для этих целей в Таборе приготовленные; из них мы черпаем средства на общие нужды.

Разговорчивый старец умолк: снизу донесся колокольный звон. Ибо солнце тем временем склонилось к закату и поголубевший небосвод окрасился нежными тонами алого и золотого. Коричневый сумрак стал заволакивать станы крестonosцев, широко раскинувшиеся на холмистых равнинах за Влтавой. А со стороны города донесся вечерний звон, сначала с одной, потом с другой башни, потом со многих иных, то звучнее, то глуше, и разные их голоса, могучие и нежные, сливались в единый мощный гимн, торжественный, берущий за сердце.

– Что-то слишком долго и торжественно звонят, – заметил брат Матей.

– Так всегда звонят под воскресенье, – объяснил брат Стах.

– Как под воскресенье? Ведь сегодня только пятница! – вскричал брат Матей, совершенно точно помнивший, что вчера, перед его злополучной прогулкой на Градчаны, дома на обед был постоянный четверговый горох с копченостями.

– Ты ошибаешься: сегодня суббота, день святой Маркеты, – отвечал Стах.

– Именно поэтому сегодня пятница. Ведь я как раз вчера, в четверг, после обеда вспомнил, но потом опять позабыл, что по дороге на Градчаны надо купить экономке какой-ни-

будь подарок к именинам, – возразил брат Матей и про себя вздохнул: «Хорошо же я справляю ее именины!» Но Стах твердил свое, и Броучек не стал с ним спорить, полагая, что нелады со временем бывают и у святых.

Умаявшись за день, он очень хотел спать. Теперь он и «каморку» вспоминал совсем по-иному, с почтением, и даже клетка с балдахинном и полосатыми наперниками вызвала у него вздох сожаления. Как бы он теперь, хорошо поев и попив, дал отдых усталым членам в этом тихом уютном ковчеге, на мягких пуховиках – в то время как здесь он вынужден спать на голой и жесткой земле, под открытым небом, окруженный диким и вооруженным людом. Он уже твердо решил, что при первой же возможности оставит и стан Жижки, укроется где-нибудь в Крческих лесах и сразу же после подавления бунта вернется в Прагу. Это общество ему совсем не подходит. Со всякими голодранцами брататься! Хоть бы они еще как следует пили за это братство! Но эдак! Брат туда, брат сюда, а потом тебя поставят к стенке камни подавать! Питаться черным хлебом, водою запивать, спать на сырой земле, а уловишь живую деньгу – так кидай ее в ихнюю бочку! Покорнейше благодарю!

Так порешив, он поплотнее натянул на голову кукуль, чтобы какое-нибудь насекомое не забралось ему в ухо, завернулся в плащ и приготовился уснуть.

Говор и шум в лагере стихли, и в этой тишине вдруг зазвучал сильный и страстный голос, невольно приковывавший

внимание. Брат Матей тоже повернулся в ту сторону и увидел Коранду, стоящего на большом камне в кольце столпившихся вокруг людей. Стах, сидевший подле Броучека, также встал и подошел к проповеднику.

Последние лучи солнца озаряли хрупкую фигуру священника: он был бледен, пылающие взоры его метали молнии, а обе руки грозным жестом указывали вниз, туда, где стояли лагерем крестоносцы.

Он говорил о змие из «Откровения святого Иоанна», змие огненном, семиглавом, имеющем на главах семь венцов, пришедшем погубить рожденное от звездной жены дитя, имя которому – Истина...

«Какова затея – устраивать проповедь ночью, когда человек после каторжной работы наконец-то может спокойно вздремнуть!» – рассердился брат Матей.

Он натянул поверх кукуля свой плащ и перевернулся на другой бок. Однако громкая, пламенная речь Коранды проникала даже сквозь двойной покров, и брат Матей, множество раз повернувшись с боку на бок, был вынужден в конце концов, злой как черт, снова сесть, заткнув себе уши.

Но все равно он слышал голос Коранды и одобрительные возгласы вдохновленных проповедью братьев и сестер. Тем временем совсем стемнело. Внизу на Летне, на голешовицких и овенецких полях загорелись в ночи многочисленные огни в станах крестоносцев; и здесь, на темени Жижкова, табориты тоже разожгли большие сторожевые костры. Огонь

выхватывал из темноты, придавая им оттенок жути, отдельные группы людей, а посередине неясно вырисовывалась фигура пламенного проповедника, воздевшего вверх руки, будто он хотел на крыльях своего вдохновения улететь в звездное небо.

Наконец он завершил свою проповедь под бурный восторг слушателей.

«Слава тебе, господи!» – вздохнул с облегчением брат Матей и снова улегся.

Но тут зазвучала песня:

Если ты господень воин
За правое дело, Божьей помощи
достоин, Иди в битву смело.
Уповай на него – С ним
победиши.

Сначала пела лишь горсточка людей, но к ним присоединялись все новые и новые голоса, и вторая строфа прозвучала уже в исполнении мощно гремевшего хора:

Бог велит нам не бояться Тех,
кто губит тело, С жизнью
нам велит расстаться
За правое дело. Укрепи же сердце
Мужеством своим.

«Ну, воют! Даже поспать человеку не дадут!» – выходил из себя доведенный до отчаяния брат Матей.

Однако он был вынужден прослушать и следующие куплеты таборитской песни:

А Христос того ущедрит, Стократно заплатит, Кто главу свою за ближних В бою правом сложит. Да, блаженны те, Кто падет за правду.

Лучники, аркебузиры Высокого рода И копейщики простые, Бойцы в чине розном, Помните вы все: Господь наш щедр.

Супостатов не страшитесь, Тьмы тем не боитесь...

И дальше, дальше вели тысячи голосов эту бесхитростную песню, нескладную, но полную крепкой и страстной веры; песня, самым Жижкою будто бы сложенная, уже отдаленное звучание которой позднее обращало в бегство целые полчища, – она гремела, слетая величаво и вдохновенно с гребня Витковой горы, далеко разносясь над умолкнувшим ночным краем.

Отзвучала песня, лагерь Жижки отошел ко сну. И брат Матей тоже обрел долгожданный покой; некоторое время ему еще не давали уснуть, но потом убаюкали какие-то псалмы, которые тихо напевал возле него старый брат Стах.

Снились нашему герою огромный змий о семи головах и звездная жена, которая незаметно превратилась в прелестную дочку Домшика...

XII

О солнце великого, вечно памятного дня! Ты, озарившее немногочисленное войско героев, какие наперечет в истории человечества; ты, показавшее миру, на что способен малый народ, увлекаемый пламенным порывом, радостно приносящий достояние и самую жизнь свою на алтарь святых убеждений; ты, факел небесный, воссиявший над горой Витковой, дабы окружить главы героических предков наших ореолом бессмертной славы; о солнце, отблески которого даже столетия спустя согревают и заставляют биться сильнее ленивые сердца потомков, – сколько бы ни было огня в душе чешской, сколько бы ни было слов вдохновенных и жгущих в языке нашем, все они должны бы слиться в хвалебную оду, воспевающую твой триумфальный восход на пурпурном и золотом горящем небосклоне! Но вместе со временем изменились и люди. Ясное летнее солнце несчетное множество раз всходило над Витковой горой, как и в тот день, но никогда уже не пришлось ему озарить богатырей; и спустя столетия смотрит оно с высоты на поколение малое, живущее без правды и силы, без вдохновения, побуждающего отдать последнюю каплю крови за дорогой идеал, на поколение, что уже почти не понимает великого подвига предков, не верит в него и посмеивается при рассказах о нем, как смеются над старой и странной сказкой, которую и слушать-то

скучно. Неспособное на подобные жертвы и высокие порывы, оно ссылается на иные времена и нравы, запрещает говорить себе о славном прошлом и при этом сидит сложа руки или играет в бирюльки. О закатившееся солнце нашей силы, взойдешь ли ты опять над землей, найдешь ли поэта, который сумел бы приветствовать тебя словом подлинного вдохновения, а не пустым суесловием и жалкою карикатурой, как я?

– Вставай, брат Матей, пора!

Броучек протер глаза и увидел, что над ним склоняется морщинистое лицо брата Стаха, подающего ему тяжелый, утыканный гвоздями цеп и кусок хлеба с сыром.

Брат Матей принял и то, и другое с тяжелым вздохом и... но нет, я не буду подробно описывать это утро нашего героя, принадлежащее к числу его самых мрачных воспоминаний о воскресных днях.

Отмечу лишь, что в этот день он хоть и не носил камни, но слушал проповеди таборитских священников и духовные песни братьев, а также (очень неприятно об этом говорить, но правда мне все-таки дороже) приобщился тела и крови Христовой по их обычаю, то есть у простого, покрытого платом стола, за которым стоял священник без церковного облачения, свершающий краткий обряд на одном лишь чешском языке.

В полдень сестры-таборитки подали брату Матею вос-

красный обед, составными частями коего были «шти» – род супа, о качестве которого пан Броучек, щадя престиж своих далеких предков, хранит глубокое молчание, кусок вареной говядины, ржаной хлеб и наперсток – во всяком случае, по мерке брата Матея – не поймешь какого пива.

Но когда после обеда он предавался мрачным думам, в голове его вдруг молнией сверкнула мысль, обещающая надежду на спасение. Ему припомнился подземный коридор, по которому он пришел в пятнадцатый век из века девятнадцатого, и он подумал: а нельзя ли тем же коридором попасть обратно? Утвердительный ответ показался ему столь очевидным, что он радостно вскочил и чуть было не возликовал вслух. Потом его надежду остудило сомнение: можно ли вот так запросто по коридору переходить из столетия в столетие? Но он тут же сказал себе: «Я точно знаю, что этим коридором я забрел в прошлое – почему б чуду не совершиться через него же в обратном направлении?» Он припомнил головокружение, которое он испытал, притворив дверь, ведущую из подземного хода в сокровищницу короля Вацлава; вспомнил также, что с одной стороны дверь была ржавая и источенная червями, а с другой совершенно новая, – ясно, что она-то и служила преградой между веками, и, закрыв ее за собой, он вихрем отлетел почти на пять веков назад. Теперь он сделает то же самое и снова очутится в современной Праге, хотя сначала, собственно, лишь под ней, в том подземном коридоре, что ведет от Козьей улицы под Градча-

ны, а там опять встанет вопрос, как вылезть по глубокой отвесной шахте на поверхность. И все-таки есть надежда, что днем он кого-нибудь дозовется, а если нет – что ж, в худшем случае он опять возвратится в гуситскую Прагу. Или, пожалуй, надо запастись провиантом и сидеть в подземном коридоре, как в убежище, до тех пор, пока город не будет взят и не спадет первый натиск вражеского войска; после непременно вновь установятся мир и порядок, и жизнь в этом пятнадцатом столетии станет хотя бы сносной... Хорошо было бы сразу же улизнуть от таборитов, но момент для этого был совсем неподходящий. Ибо Жижка заметил подозрительные передвижения во вражеском стане и отдал братьям команду быть наизготове: лучники, копейщики, цепники, воины других родов оружия стали быстро строиться на отведенных им местах. Часть цепников под командой Хвала разместились у западного сруба. Среди них был также брат Матей; и хотя он стоял в последнем ряду; у самого края северного склона, но крутизна горы, стена сруба за ним и плотный строй бойцов между ним и южным склоном не позволяли и помышлять о побеге.

Зато с его места было хорошо видно все, что происходило внизу, на Госпитальном поле и дальше за рекой.

Там уже повсюду наблюдалось зловещее движение. Пешие и конные отряды меняли свои позиции, там разделяясь, там сходясь, строясь в ряды. Особенно оживленное перемещение войск было в стане мейсенцев у Овенца и в лагере Аль-

брехта Австрийского по соседству с ними.

Пражане, по-видимому, также чуяли недоброе: густые толпы их стояли на городских стенах и в воротах, изговываясь к бою и зорко следя за передвижением неприятельских войск.

Наконец – часу в четвертом – мейсенские конники вместе с венграми и австрияками, числом примерно тысяч в двадцать пять, ринулись к Влтаве и стали быстро переправляться на другой берег. В отдалении за рекой остались в резерве три отряда крестоносцев. В городе раздался громкий крик и звон набата, и можно было видеть, что враг готовится одновременно выступить и с других сторон, от Града пражского и от Вышеграда.

Брат Матей чувствовал себя так, будто настал Судный день. С ужасом наблюдал он, как вражеские войска заполняют Госпитальное поле, и лишь на минуту приободрило его замечание Хвала: «Они направляются на Поржичи: к нам сюда на конях не подъедешь!» Но неприятель не повернул к Праге; основная масса всадников карьером поскакала в обратную сторону – на восток.

– Братья милые! – разнесся по лагерю повелительный голос Жижки. – Чую я, настал решающий час. Скоро, бог даст, покажем мы вероломному королю, как умеем мы биться за божие и свое дело против всех воев антихристовых. Уже идут на нас враги правды и погубители земли чешской. Посему уповайте на всевышнего и готовьтесь к бою! Дер-

житесь каждый дружины своей и слушайте гейтманов. И да укрепит вас господь!

– Победа или смерть! – разнеслось по лагерю, и вновь раздалось громовое пение: «Если ты господень воин...»

Но когда еще грозно звучала последняя строфа:

И воскликните с веселием, Глаголюще: бей их! Меч свой праведный подъемля, Бог с нами, Бог велий! Бей их, убей их, Бей, не жалея! –

ее перекрыл дикий рев и резкий зов труб с восточной стороны, где мейсенская конница въехала по некрутому склону наверх и теперь во весь опор скакала к срубу, стоящему с того края.

Табориты не ожидали столь внезапного и мощного удара с той стороны; они полагали, что неприятель обогнет гору и ударит на их лагерь с юга или сразу с нескольких сторон. Внезапная бурная атака нападающих внесла смятение в ряды немногочисленных защитников сруба; большинство их, напуганное страшным криком мейсенцев, блеском длинных копий и дождем стрел, обратилось в бегство, и противник первым же ударом не только овладел башней в ограде виноградника у сруба, но и форсировал ров. Уже первые его дружины, слезши с коней, с победным рыком взбирались вверх на стену сруба, где оставалась лишь горстка таборитов, среди них две женщины и одна девица. Не имея стрелкового оружия, они могли лишь метать на атакующих камни со стены

и из навесных бойниц сруба.

Защищались они героически; особенно выделялась одна женщина, высокого роста, с черными волосами, рассыпавшимися по смуглой шее и развевающимися на ветру: стоя на стене сруба, она обнаженными мускулистыми руками, как титанша, поднимала над головой большие камни и сбрасывала их на идущих на приступ мейсенцев. Прочие защитники уже готовы были отступить, она же воскликнула громким голосом: «Не должно верному христианину отступить перед антихристом!» – и, не имея больше под рукой камней, схватилась врукопашную с закованным в броню верзилкой, который только что взобрался на сруб, – но тут ударил ей в грудь дротик другого мейсенца, и она упала – увлекая за собой и противника своего – вниз, на разъяренных нападающих.

В эту трудную минуту подоспела защитникам сруба подмога. Жижка с частью своих людей поспешил к срубам, сам первый поднялся на стену и, громовым голосом подбадривая остальных, замахал своей булавой на все стороны, сбивая мейсенцев, лезущих вверх. Внезапно он рухнул: кто-то из врагов схватил его за ноги и потянул со стены – казалось, гибель неминуема. Но тут рядом с Жижкой возник старый воин-таборит: вокруг впалых висков – шапку сорвало во время боя – развевались белые как снег, поредевшие кудри; старческая сухая рука с молодой силой размахнулась тяжелым цепом и сильным ударом свалила мейсенца; остальные

цепники втащили своего предводителя на стену; Жижка был спасен. Но тут же мейсенский меч пронзил дряхлую грудь старца – и сбылось горячее желание седого брата Стаха!

С грозным треском опускались теперь цепи таборитов на головы врагов, камни и стрелы – дождем сыпались на них, так что с криком и жалобными стонами отступили они от сруба, и ров под ним наполнился вражескими телами.

Тем временем Жижка, видя, что первая атака на сруб отбита, возвратился к остальным своим людям и сказал гейтману Хвалу:

– Живо и без шума отойди со своим народом виноградниками вон туда, – он указал окровавленной булавой на южный склон, – и ударь на врага сбоку.

Хвал только кивнул и поспешил выполнить приказ. Он дал цепникам нужные пояснения и во главе своей дружины незаметно двинулся меж виноградниками к склону горы.

Брат Матей во время всего боя не выходил из состояния смертельного ужаса; он дрожал всем телом, так что даже обитый гвоздями цеп прыгал за его спиной. Он непременно бы дал стрекача, будь хоть малейшая возможность. Счастье еще, что стоял он довольно далеко от места боя.

Когда же теперь Хвал с цепниками углубился в кривые дорожки виноградников, братом Матеем овладела одна-единственная мысль: бежать, бежать во что бы то ни стало – хотя бы потому, что второй раз никакая сила не выгонит его на этом свете на поле боя.

Намерению его споспешествовало то, что он шел в последнем ряду. Только они углубились в виноградники, как он не раздумывая шмыгнул в пролом полуразрушенной стены сада и во всю прыть дунул по склону вниз, в сторону, противоположную месту боя. Он услышал за собой крик: «Трус! Предатель!» – и ему показалось, что кто-то бежит за ним следом совсем близко, почти задевая его концом булавы, что еще сильнее побуждало его к отчаянному, бешеному бегу.

Тут услышал он где-то сбоку за кустами два голоса, без сомнения, каких-то крестьян, наблюдающих бой на горе:

– Смотри, вон бежит какой-то немец.

– Да нет, это таборит: у него же цеп на плече.

– Верно, посланный от Жижки к пражанам.

Этот разговор отрезвил брата Матея. Он понял, что принимал за преследователя свой собственный цеп, который, раскачиваясь в такт диким прыжкам, ударял его по спине.

Оглянувшись, он не заметил позади никакой опасности. Табориты были слишком заняты битвой, чтобы преследовать беглеца.

Слова крестьян одновременно подсказали ему отличную мысль. Да, он выдаст себя за посланца Жижки и так беспрепятственно проникнет через ближайшие ворота в Прагу; там же он поспешит в дом Янека, переоденется опять в свой собственный костюм, скрыв его под длинным и широким плащом, и быстро отправится к королевскому дому «У чер-

ного орла».

Он уже не бежал, а быстро шел к близлежащим Горским воротам. По левой стороне дороги к ним тоже тянулись виноградники, за которыми сверкало оружие неприятеля на Госпитальном поле.

Над воротами, на обеих башнях по бокам, на городских стенах – всюду толпился народ, наблюдавший бой на Витковой горе, и, когда брат Матей подошел к воротам, он понял, что людьми владеют великое горе и страх. Он видел, как женщины и старцы заламывают руки либо простирают их с мольбою к небесам; слышал также плач, и рыдания, и горячие молитвы. Они были свидетелями того, что враг на Витковой горе торжествует, и возлагали свои упования лишь на божественный промысел.

Но внизу, в открытых воротах, стояла колонна людей, в глазах которых сверкала неукротимая жажда боя. Пражский священник в стихаре и с прочими принадлежностями церковной службы нес на высоком шесте сияющую святыню той же странной формы, что и уже виденная паном Броучеком на Староместской площади; перед священником стоял мальчик-служка, также в стихаре, звоня в ручной колокольчик; за ним теснились в воротах воины с арбалетами. Далее можно было видеть отряды цепников.

Когда брат Матей дошел до моста, ведущего через ров, священник громко спросил его:

– Кто ты?

– Меня послал Жижка, – храбро ответил брат Матей, но голос его все-таки немного дрожал.

– Как там, на горе?

– Худо, совсем худо. Жижка велел сказать вам, чтобы вы пришли на помощь, – отважно врал дальше самозванный посланец.

– Мы как раз готовимся к бою.

– Мне еще нужно кое к кому в городе, – стыдливо добавил брат Матей.

– Пропустите посланца Жижки, – обратился священник к воинам, и те тотчас же расступились.

Брат Матей прошел через ворота в город, глубоко надвинув на глаза свой кукуль, чтобы не привлечь внимания Янека от Колокола и вчерашних сотрапезников в корчме, если бы кто-нибудь из них оказался среди воинов, стоявших у этих ворот. Свернув за угол в переулок, он облегченно вздохнул, видя, что обман удался вполне.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он поспешно избавился в ближайшей пустынной подворотне от причинявшего ему столько неудобств цепа, – и с этим оружием таборита снимаем и мы с него звание брата Матея и будем в следующей, предпоследней главе опять иметь дело с милейшим паном Броучеком.

XIII

Освободившись от тяжелого цепа и гнетущих мыслей, пан Броучек поспешил дальше. Но вскоре он совсем запутался в незнакомых улицах средневековой Праги, так что лишь примерно через час благополучно достиг дома «У белого колокола».

Улицы были пустынные: видимо, основная масса жителей была у ворот и городских стен. Дом Янека тоже будто вымер. Ни у входа, ни в сенях пан Броучек не встретил никого и не уловил никаких признаков жизни. Домшик наверняка был среди воинов пражского ополчения, а женщины, без сомнения, также стояли где-нибудь у ворот или на городской стене, ожидая исхода боя.

Пан домовладелец поспешил на галерею и по ней в каморку. Дверь в нее была открыта; войдя, он заметил старую Кедруту, кропящую полы и постель из какой-то оловянной плошки.

Увидев его, она на мгновение словно замерла в ужасе; потом вздрогнула всем телом и стремительно, будто спугнутая летучая мышь, прошелестела мимо него вон из спальни.

– Проклятая суеверка – это она святой водой после меня тут кропила! – возмутился пан Броучек.

Но в этот миг снаружи вновь донесся громкий колокольный звон, побуждая пана Броучека – угадывавшего в нем

призыв собрать последние силы на отпор уже торжествующему, видимо, врагу – поторопиться с переодеванием.

Поэтому он живо стащил с себя средневековую одежду, наконец-то, с чувством отвращения и одновременно облегчения, швырнув в угол красно-зеленые штаны и переделся в свое, теперь вдвойне любезное, современное платье, лежавшее вычищенным на сундуке. Рядом он нашел и свою обувь; поврежденная штиблета была аккуратно зашита, и обе подбиты новыми подметками.

Приятно было обуть их и с отвращением зашвырнуть двухцветные сапоги в тот же угол. Потом переложил он часы и прочее движимое имущество из кошны и средневекового кошелька обратно в свои приличные карманы и под конец завернулся с головы до пят в епанчу, чтобы прикрыть свое современное убранство. На прощание он окинул еще мрачно-ехидным взглядом огромное ложе с comodными ящичками и приступочкой, обдал испепеляющим презрением песочные часы в нише и без малейшего сожаления, почти радостно расстался с подслеповатой каморкой. Тихо прокрался он галереей и мазгаузом, мимо закрытых дверей светлицы, и здесь его сердце все-таки забилося чаще при мысли о пригожей Домшиковой дочке. Хотя милый образ ее был отеснен на задний план переживаниями на Госпитальном поле и Витковой горе, он до сих пор сиял любовным светом в его тоскующей душе. Но даже этот образ не мог удержать пана Броучека в суровом средневековье. Он быстро спустился

по лестнице из мазгауза и беспрепятственно вышел из дома.

Поскольку на площади опять толпилось довольно много людей, пан Броучек из предосторожности пошел назад, по Тынской улице, а потом свернул влево, в узенький и темный переулок, что ведет к Козьей. Он очень спешил, в радостном нетерпении предвкушая, как из королевского дома через подземный ход он вновь пройдет к «Викарке» и выберется в свой золотой девятнадцатый век! Он также твердо решил, что теперь-то уж во что бы то ни стало набьет все карманы лучшими драгоценностями из сокровищницы короля Вацлава...

Он миновал какую-то пивоварню – очевидно, уже известное нам из рассказа Домшика «Пекло» – и, дойдя до конца переулка, намеревался перейти на ту сторону, к Гончарной, нынешней Козьей, чтобы знакомой боковой калиткой проникнуть с тыла в королевский дом «У черного орла». О том, чтобы запастись пропитанием для экспедиции в тайный ход, он совершенно забыл в нетерпеливой спешке.

Но вдруг что-то его остановило. Пока он шел по Тынской улице и по переулку, все был слышен тот звон, что возник, когда он был в камерке, но звон все крепчал, будто все новые колокола вступали в этот гремящий хорал; теперь же он услышал клики, гомон толпы и звон бубенчиков, доносившийся из Долгой улицы, и увидел, что люди с площади также спешат в ту сторону.

Он хотел было быстро перебежать к Козьей улице,

но опоздал. Из Долгой улицы выехало несколько всадников с длинными копьями, на которых трепетали флажки с красными крестами. Восторжествовавшие крестоносцы!

Пан Броучек, осознав, что бежать некуда, в смертельной панике пал на колени и вскричал по-немецки:

– Смилуйтесь! Я немец! Я католик!

– Смерть немцу-паписту! – воскликнули согласно, как один человек, всадники по-чешски, и один замахнулся копьем на пана домовладельца.

Тот вскочил и закричал теперь по-чешски:

– Господи помилуй! Да я вовсе не немец и не католик! Я чех и гусит!

Всадники в изумлении придержали коней, и большая толпа вооруженных и невооруженных мужчин, женщин и детей, выплеснувшаяся вслед за ними из Долгой улицы, как бурлящая разноцветная река, обтекла, обхватила несчастного со всех сторон.

– Так почему ты по-немецки кричал, что ты немец и католик? – воскликнул один из всадников, который, по-видимому, был среди них главным.

– Я думал... я думал... вы немцы-крестоносцы... у вас же эти флажки с крестами, – заикаясь от страха, вымолвил пан Броучек.

– Ха-ха! Их мы добыли на поле Госпитальном, где бог даровал нам славную победу. Но ты, однако, в самом деле немец. И по-чешски ты говоришь плохо!

– Нет! Нет! Клянусь, никакой я не немец – я просто был долго в чужих странах – вам это может Домшик подтвердить, Янек от Колокола...

– Янек от Колокола? Сей положил сегодня жизнь свою за правду и отчизну, выступив в первых рядах с нами, старогородскими, из ворот Поржичских и смертельно быв ранен в коротком бою под Витковой горой. Ежели ты и вправду чех и гусит, как смеешь ты произносить имя героя теми же мерзкими устами, которыми ты из одного лишь презренного страха только что отрекся от рода своего и веры?

– Коли мерзавца! Бей труса! – кричал вокруг народ, яростно кидаясь на Броучека. Тот попытался выскользнуть, но кто-то из толпы дернул его плащ, который от резкого движения упал, и пан домовладелец вдруг предстал перед пораженной публикой в своем современном платье.

Изумление на миг парализовало нападающих; однако в толпе там и сям раздались смех и хихиканье.

– Ну и ну, вон оно что вылупилось из невинной епанчи! – воскликнул предводитель. – Ты что же, и теперь станешь утверждать, что ты из наших? А мне вот сдается, ты скорее из этого крестоносного сброда, ты лазутник Зикмунда!

– Клянусь, я не лазутчик! Я чех и пражанин.

– Ну, ежели ты пражанин, то судить тебя будет суд пражский. Вяжите его и ведите в ратушу! Палач и дыба выведут истину.

Пан Броучек, слыша о палаче и дыбе, стал синий, как по-

койник. Он опять опустился на колени и в великом ужасе бормотал: «Смилуйтесь! Я не пражанин!.. Я, правда, родился в Праге, но я перешел к таборитам... в цепники гейтману Хвала... вам сам Жижка подтвердит...»

– Ха-ха, таборит! Эдакий трус – таборит! Он нас за дураков почитает! Чтоб тебе пусто было, паук крестовый, негодяй гнусный! – такие и подобные гневные выкрики неслись со всех сторон, и пану Броучеку пришлось бы совсем худо, если бы голос предводителя не перекрыл голоса разбушевавшейся толпы:

– Остановитесь! Сей презренный хоть и превратился за малое время из немца-католика в чеха-гусита, а затем в таборита из пражанина, и бог знает в кого еще превратится, и заслуживает смерти уже за одни эти трусливые, подлые речи, – но коль скоро он выдает себя за воина Хвала, передадим его на суд таборитов.

– Да ведь Жижка как раз въезжает вместе с пражанами в город через Горские ворота, – крикнул кто-то из тех, что прибежали со Староместской площади.

Тогда пана Броучека связали и поволокли, подталкивая, на площадь.

Туда же хлынули толпы ярко одетых людей из Нелетной улицы и из других мест; они оживленно переговаривались, сообщали новые подробности окончившейся битвы, многие громко ликовали и пели победные песни. Старцы прямо на голой земле преклоняли колени, вознося руки к небесам

с выражением горячей благодарности. Девы несли зеленые побеги и охапки цветов, усыпая ими путь пеших и конных воинов либо прикалывая их на шлемы и шапки. Все лица сияли безмерным счастьем, и не у одного на ресницах трепетала слеза блаженства. И самое солнце, хотя и клонилось к закату, струило какой-то праздничный свет, купаясь в котором даже дома будто сияли блаженными улыбками. Весь город звенел ликованием, и к нему присоединялся могучий, светозарный гимн колоколов всех пражских башен.

Вооруженные воины с беднягой Броучеком остановились на углу Целетной улицы, где собралось больше всего народу. На высокой тумбе, изображавшей голову какого-то чудища, стоял не то участник, не то свидетель всей битвы и звонким, радостным, срывающимся голосом как раз повествовал народу о счастливом обороте сражения.

К сожалению, несчастный пан Броучек, весь во власти смертельного страха, не мог воспринять должным образом его речь, и потому я приведу здесь вкратце только то, что нам известно о славной битве за веру на Витковой горе из истории.

Как мы уже знаем, дело там было очень близко к поражению; но Жижка вовремя подоспел на помощь защитникам подвергнувшегося нападению сруба и послал часть своих людей виноградниками по южному склону, дабы ударить сбоку по войску противника на гребне горы. Они выскочили неожиданно на мейсенцев с юга и востока, и те – из-за узо-

сти гребня горы и крутизны склона – не могли ни повернуться с конями, ни наехать на пеших бойцов, оттеснявших их к высокому северному обрыву. Не в силах противостоять страшному вихрю цепов таборитов, всадники один за другим вместе с конями рушились вниз, в падении ломая себе руки, и ноги, и шеи. Те же, что, сошедши с коней, на сруб полезли, не имея возможности отступить из-за напирających сзади своих же воинов и неустанно осыпаемые градом камней и стрел из сруба, частью были столкнуты в пропасть, частью же сами в отчаянии вниз бросались, и многие остались лежать с разбитыми черепами либо раздробленными членами на валунах или у подножия горы; из тех же, что удержались наверху, одни, отказываясь от боя, садились наземь и лишь щитами прикрывались от камней и стрел, летящих из сруба, иные тщетно оборонялись от яростных цепников, чье оружие с жутким свистом и треском падало, подобно смертоносному железному граду, на их головы.

Войско крестоносцев, собравшееся внизу, на Госпитальном поле, видя страшный смерч таборитских цепов на гребне горы, видя латников и коней, с высокого обрыва вниз головой летящих, а других по более пологому склону безумным бегством спасающихся, видя неожиданное и кровавое поражение мейсенцев на горе, было охвачено внезапной паникой; а когда к тому же и жаждущие боя отряды пражан и сельских их союзников, еще до перелома боя на Витковой горе выступившие от Горских и Поржичских ворот,

стали угрожать им (с другой стороны, ведомые вдохновенным бледным священником, над головой которого блистал и переливался в солнечном свете большой лучистый шар с драгоценной святыней, как светлое, неземное видение, а громкая его молитва сопровождалась звуком колокольчика, в который звонил, идя перед дароносицей, кудрявый мальчик-служка, в стихарь одетый, – тут дрогнуло внезапно войско немцев и венгров, как огромная туча, в которую ворвался внезапный ураган, и в диком смятении обратилось в бегство. В полном беспорядке, сломя голову бежали крестоносцы назад, к реке, бросались наперегонки в ее волны. С громовым криком «Ура, Табор!» мчались за ними с горы табориты, с громким «Ура, Гус! Ура, Прага!» ударили им в бок пражане; как причудливый снежный ком, катилась толпа бегущих и преследующих к Влтаве, пешие и конные слепились в плотные хлопья, окованные цепи летали в воздухе, в облаках поднятой пыли мелькали блестящие острия сулиц; оглушительный грохот, ржанье, крики, стоны, ликующие вопли наполнили широкое пространство под Витковой горой; и река тоже заколебалась по всей ширине от движения всадников, в смятении и спешке перебиравшихся вброд на другой берег. Груды мертвых крестоносцев покрывали окровавленное Госпитальное поле; немалая их часть утонула и в волнах влтавских.

На такую-то картину должен был взирать с того берега король Сигизмунд, тот самый запальчивый и заносчивый вла-

стититель, который совсем недавно в жестокой радости уже потирал руки, будучи твердо уверен, что гигантский перевес позволит ему разом преодолеть сопротивление дерзкого народа, растоптать ненавистную ересь. А через час – какая перемена! Теперь он отчаянно рвал на себе бороду, трясясь от ярости, боли и стыда при виде этого невероятного, просто неслыханного позорного поражения его огромного, отборного, закованного в броню войска в битве с малой толикой мужиков, вооруженных лишь цепями и прочим подобным самодельным оружием. Великое войско, набранное с папского благословения из всех стран и народов христианского мира, должно было смотреть на постыдное бегство лучшей своей когорты и слушать победные клики этой кучки еретиков – крестьян и мещан!

Примерно так обрисовал оратор на тумбе ход недавнего боя и закончил свой рассказ вдохновенным призывом:

– Благословен будь господь наш за славную победу, которую он даровать изволил горстке людей своих над огромной силой спесивых врагов!

– Мы воздали хвалу богу уже на поле брани, преклонивши колена на политой кровью земле, и громко спели благодарственный молебен, – отозвался кто-то из вновь подошедших. – Но честь и хвалу следует воздать также Жижке, ибо это он удалью своей и хитроумием бой на Витковой горе повернул к неожиданной победе. Будем от сего дня именовать эту гору Жижковой, чтобы никогда не померкла память о слав-

ной битве!

– Так! Верно! – бурно соглашались в толпе. – Честь и хвала брату Жижке!

Тут из Целетной улицы хлынул новый поток людей, торжествующие крики заглушили голоса тех, что собрались на углу. Медленно приближалось к площади главное войско пражан с отрядом таборитов и самим Жижкой, окруженное приветствующими их толпами старцев, женщин, детей и прочих пражских жителей. Процессия эта на фоне живописных средневековых домов являла собой поистине захватывающее зрелище – многоцветное, полное движения.

Впереди гордо выступал строй загорелых таборских мальчишек со своими ручными пращами, а к ним присоединилось множество городских детей, несущих в руках зеленые победы, некоторые же размахивали малыми мечами и дротиками. Глазенки юного авангарда сияли гордостью и весельем, а их свежие, чистые голоса старательно выводили бесхитростную, но горячим чувством подсказанную песню, сложенную в порыве радостного вдохновения прямо на поле боя во славу победы таборским священником Чапеком. Теперь он выступал впереди детей, сам запевая:

Дети, богу воспоем, Честь-хвалу воздаем
Со старцами вместе, Яко той поразил немцев,
мейсенцев, Швабов, угринов, также австрияков,
Беглых богемцев Оскорбил, устршил и прогнал от деток малых...

За детьми выступала величественная фигура того пражского священника, который водил в битву войско горожан; в руках он все еще держал на тонкой длинной жерди сверкающую святыню, а перед ним шел звонящий в колокольчик министр.

За священником на белом скакуне под стягом с изображением чаши, который нес один из братьев, ехал одноглазый вождь таборитов, а далее следовали плотные ряды таборских и пражских воинов.

Грозное и одновременно захватывающее зрелище являла собой эта необычная процессия, это пестрое смешение разных одежд и доспехов, еще покрытых пылью и обрызганных кровью, эти лица, вдохновенные и победно сияющие, этот сонм окровавленных копий и цепов, ошестинившихся и вздымающихся над волнами бурлящей живой реки, из которой раздавалось бряцание оружия, шорох шагов и топот копыт, пение и возгласы торжества, сливаясь с могучим трезвонном пражских колоколов в единый великолепный гимн радости и славы.

Средоточием самого бурного ликования был все-таки брат Жижка. Девушки бросали охапки цветов под копыта его коня; матери высоко поднимали детей, чтоб те увидели божьего витязя; старцы благословляли его, осеняя крестным знаменем, – слава и хвала гремели ему навстречу.

Как раз неподалеку от толпы, где едва держался на ногах наш бедный невольный участник этого торжества, наш горе-

мычный связанный Броучек, Жижка на минуту остановил коня и с присущей ему простотой и выразительностью звучным громким голосом, в котором слышалась сила чистого, глубокого убеждения и горячая, искренняя набожность, воскликнул:

– Братья милые! Славьте не меня; славьте всевышнего, в чьих руках мы все лишь недостойные орудия. Милостивый господь поразил слабой рукой нашей врагов своих и наших, врагов святой правды и нашего языка чешского и словацкого. Всемогущий бог, святая наша защита, покарал их гордыню. Ему за то подобает всякая хвала и честь во веки веков, аминь!

– Аминь! Аминь! – раздалось со всех концов, сливаясь в согласный хор.

Тут взгляд Жижки упал на связанного Броучека.

– Что за пленник у вас? – спросил он.

– Мы взяли его в городе, – сообщил предводитель конников, – он кричал, что он немец-папист. Потом стал оправдываться, что кричал так со страху, приняв нас из-за добытых в бою хоругвей с крестом за немецких крестоносцев. Он уверял, что он чех и гусит, и сперва выдавал себя за пражанина, но когда мы хотели вести его в ратушу, стал говорить, что он из Табора. Посему и ведем мы его к тебе, дабы ты сам судьей ему был.

Единственный глаз вождя таборитов внимательно остановился на пленнике, жила вздулась на лбу у Жижки, и могу-

чий голос его загремел:

– Ха, я не узнал тебя сразу в этом дурацком наряде! Брат Хвал, глянь-ка, не тот ли это изменник подлый, которого мы вчера после боя на Госпитальном поле в число братьев приняли и который сегодня в минуту наитягчайшую с горы Витковой трусливо сбежал?

– В самом деле, он! – воскликнул Хвал из Маховиц, ехавший в процессии за Жижкой. – И я не признал его раньше в этом диковинном одеянии. Сей негодяй вчера бесстыдной ложью прельстил меня и отца Коранду, и мы приняли его в число братьев. Он дерзко уверял, будто на поле Госпитальном храбро сражался вместе с пражанами, будто после многих лет скитаний на чужбине возвратился домой, чтобы помочь землякам в тяжелой борьбе. Ныне храбрость свою на Витковой горе показал он в деле, и всяк, кто взглянет на него, сразу распознает, каков из него герой! Ха-ха!

Взоры всех вокруг были с негодованием, изумлением и гневом обращены на причудливо обряженного пленника, в котором в ту минуту и впрямь не было ни на грош величия. Бледный как мел, пан Броучек дрожал мелкой дрожью, как осиновый листок.

Тут продрался сквозь толпу коренастый длиннобородый крестьянин в полотняной рубаше и грубой соломенной шляпе, с окровавленной тяжелой палицей в руке.

– К таборитам, говорите, подался этот бесстыжий после вчерашнего боя? – кричал крестьянин, в котором читатель,

надеюсь, узнал Вацек Бородатого из Жатеца. – Так слушайте же: малое время перед боем пришел он гостем Янека от Колокола в корчму, где мы сидели, и когда поднялся меж нами спор и свара о церковных ризах, рьяно защищал облачения, а таборитов обозвал еретиками, так что я его за такое кощунство чуть было не покарал самолично палицей...

– А нам тотчас после боя сказал, что он против облачений и потому от пражан отходит, – воскликнул гейтман Хвал в величайшем возмущении.

– Не верю я, чтобы Прага могла породить такое позорище! – отозвался из толпы новый свидетель против Броучека, Войта от Павлине. – Подло лгал он, убедив покойного Янека от Колокола, будто он пражанин урожденный и из чужих стран домой воротился. Чужак он либо бродяга безродный, хитростью проник в Прагу и в лагерь Жижки лазутчиком от Зикмунда.

– Убить негодяя! – зашумела возмущенная толпа.

– Клянусь... клянусь... я не шпион. Ах, если бы тут был Домшик! Я чех и пражанин! Смилуйтесь! Пощадите! – взвыл пан Броучек, упав на колени и стуча зубами.

– Так ли, этак ли – ты все равно достоин позорной смерти, трус и низкий притворщик! – вынес суд Жижка. – А ежели ты и вправду чех, то тем более справедливо, дабы праведный гнев твоих земляков стер тебя с лица земли, ибо живешь ты им во стыд и поношение. Еще первый раз увидя тебя, я сказал, что ты служишь более чреву своему, нежели богу; те-

перь же вижу, что у тебя нет никакого бога, нет у тебя ничего святого, кроме как ублажать презренную плоть, ради чего ты перед всяким готов, когда надобно, отречься от бога, правды, братьев, матери, рода и языка своего! Потому будь сметен с лица земли, которую ты осквернил и опозорил!

– Сжальтесь! – застонал пан домовладелец, ползая на коленках. И внезапно, с решимостью отчаяния, сказал: – Ради бога... послушайте... други... Ведь я даже не из ваш... не из вашего века... Я же родился в девятнадцатом столетии... я ваш праправнук... и только каким-то непонятным чудом очутился среди вас... в далеком прошлом!

Остолбневший народ с минуту глядел на него в немом изумлении.

Наконец Жижка произнес:

– Ха, от страха ты даже в уме повредился! Безумна мысль, что человек далеких будущих веков может прийти к своим предкам; но даже если бы и могло случиться это неслыханное чудо – бог никогда не допустит, чтобы у нас были такие потомки!

Он резко махнул рукой над осужденным и тронул своего белого скакуна.

– Сожгите его! – гневно добавил Хвал и поскакал вслед за Жижкой с последним отрядом.

– Сожжем его! – закричала яростная толпа и бросилась на несчастную невинную жертву.

– Сжальтесь! Смилюйтесь! – униженно молил пан Бро-

учек.

– Для труса и изменника нет у нас милосердия! – сурово сказал Вацек Бородатый. – И зря ты вымаливаешь свою ничтожную жизнь, в которой единственным богом была утроба, а святыней – полная бочка.

– Ежели так, пусть бочка и послужит ему вместо гроба, – предложил кто-то из толпы.

– Ладно сказано! Спалим его в бочке! – толпа бурно выражала свое одобрение и...

Перо выпадает из моей руки. Отказывается дорисовать чудовищную картину. Но писательский долг велит мне довести своего героя до страшного конца его средневековых приключений и нанести завершающий мрачный мазок на верную картину прошлого, где светлые лучи перемежались не менее черными тенями.

Однако чувствительной читательнице я все же посоветую пропустить конец этой главы; ведь и уже описанные злоключения добрейшего пана Броучека не однажды, должно быть, вызвали влагу сострадания на ее ресницы. Только читателя, обладающего крепкими нервами, приглашаю я последовать за мной, дабы присутствовать при последнем скорбном акте, все время памятуя о том, что та эпоха не была столь чувствительна и щепетильна, как наш просвещенный век, в котором сотни тысяч хотя и умирают в муках на полях сражений, но зато палач встречает осужденного в перчатках. Даже в романах ужасов мы не сталкиваемся более с экзекуция-

ми того рода, что была совершена одним и тем же способом 14 июля 1420 года в Праге над паном Броучеком, а 21 августа 1421 года – в Роуднице над дерзким реформатором Мартином Гоуской, иначе Локвисом, и его сотоварищем, священником Прокопом.

Впрочем, последующее я могу наметить лишь в нескольких главных, мрачных чертах. Пану домовладельцу эта катастрофа вспоминается – смутно, как самый страшный сон в жизни; смертельный ужас сковал его чувства, и он лишь отрывочно и неясно воспринимал все обстоятельства страшного события.

Полумертвый, он был под крики и брань толпы доставлен на Староместскую площадь, к позорному столбу; через минуту натащили туда поленьев и соломы, юные пращники прикатали большую бочку – как в тумане услышал он, что бочку эту выкатили из «Пекла» (теперь, можно считать, пивоварня сия стала достойна своего имени), – затрещал огонь, вспыхнуло алое пламя, озарив зловеще пеструю средневековую толпу, сквозь которую пробилась горбатая безобразная старуха, чем-то размахивая и злобно выкрикивая: «Так ему! Сожгите злого колдуна! Вот я бросаю к нему в костер адскую коробочку с волшебными словами и дьявольское зелье, которым он околдовал наш дом, ставший теперь жилищем скорби. Ступай к сатане, гнусный чародей, коему ты продал свою черную душу!» Тут пан Броучек предпринял еще одно тщетное усилие, пытаясь освободиться от своих лютых па-

лачей, которые всунули его, связанного, в бочку, – напоследок показалось ему, что в открытом окне Домшикова дома он видит печальное лицо прелестной Кунгуты, и потом его обьяла тьма, застучали палицы, забивающие днище над его головой, и бочка начала медленно катиться все ближе и ближе к потрескивающему огню.

Мысль его заволокло туманом, и лишь далекой звездой мелькнул в этом мраке образ дочки Домшика; угасающий дух устремился к ней, как к последнему лучу надежды, и из груди Броучека вырвалось хрипло и отчаянно: «Куночка! Куночка!»

XIV

– Господи, что за странные звуки? – раздался над паном Броучеком знакомый голос, и когда он поднял голову, то увидел застывшее в изумлении лицо пана Вюрфеля, склонившееся над открытой бочкой.

– Святые угодники, да это пан домовладелец! – трактирщик просто обомлел, даже всплеснул руками. – Господи, спаси и помилуй, как они изволили попасть в бочку? (Пан Вюрфель иногда употребляет старомодную почтительную форму обращения.)

Пан Броучек ничего не ответил, лишь удивленно смотрел на него, как бы не в силах припомнить, где он и что с ним происходит.

– Не угодно ли им будет все же вылезти, ведь там много грязи, – подбадривал его сердобольный Вюрфель.

Но пан Броучек поначалу лишь осторожно высунул голову и тревожно огляделся по сторонам. Он, правда, увидел элемент средневековья, а именно круглую романтическую башню Мигулку, но больше ни одной из тех ужасных примет давних веков, которые только что его окружали. Он обнаружил, что хотя и сидит в пустой бочке, но отнюдь не у столба перед пылающим костром на средневековой Староместской площади, окруженный грозными толпами гуситов, а в тихом дворике уютной «Викарки».

Он глубоко вздохнул, словно с груди у него свалился огромный валун, и с помощью Вюрфеля тяжело выбрался из бочки. Все тело ломило, в голове была мучительная тяжесть. Одежда его от пребывания в грязной бочке вся перепачкалась.

– Хорошенький же у них видок, хорошенький! – с укором констатировал трактирщик. – И похоже, они подцепили чудный насморк. Дивиться нечему – всю ночь провести в мокрой бочке!

– Э, нет, насморк я подцепил в каморке и при ночевке под открытым небом на Жижкове, – недовольно проговорил пан домовладелец.

– В каморке? На Жижкове? – с изумлением повторил трактирщик и взглянул на своего посетителя, будто сомневаясь, в уме ли он.

Но пан Броучек покамест не стал пускаться в объяснения, а принялся искать свою шляпу, которая была благополучно обнаружена на земле за бочкой, хотя и в крайне плачевном состоянии.

Вюрфель повел пана домовладельца в трактирный зал, пригласил пани Вюрфелеву, и оба дали волю чувствам, наперебой выражая изумление по поводу события столь необычайного. Под конец трактирщик высказал предположение, о котором я уже упоминал во второй главе. Будто бы пан домовладелец ночью спутал дорогу и не вышел через прихожую на улицу, а свернул в противоположную сторону, к лест-

нице; без сомнения, по странной случайности попал во дворик, а затем в старую, отслужившую свой век бочку, что с выбитым верхним днищем стоит там в углу и служит для сбора дождевой воды и для прочих подобных целей. Никак иначе произойти якобы не могло – разве что пан Броучек второй раз случайно попал на Луну и оттуда под воздействием некоей силы притяжения свалился обратно, прямо в вышеупомянутую бочку. Наш герой отвечивал на это лишь энергичским мотанием головы, но не издавал ни звука.

Пока пани Вюрфелева готовила кое-что в кухне для согревания и подкрепления сил, пан домовладелец снял с себя (как предложил трактирщик) свою перепачканную одежду и завернулся в халат пана Вюрфеля. В тот ранний час – наш современный Диоген покинул свою бочку в восьмом часу утра – в «Викарке», по счастью, не было еще посетителей.

Лишь проглотив с аппетитом вкусный завтрак, опорожнив две кружки пльзеньского пива и вновь облачившись в свой отчищенный костюм, пан Броучек за третьей кружкой снял печать молчания со своих уст. Сначала он, конечно, мог лишь в общих чертах обрисовать свое удивительное приключение. Пан Вюрфель слушал в немом изумлении, лишь покачивая недоверчиво головой, но потом решительно воспротивился тому, что якобы в помещениях его кабачка или где-нибудь поблизости находится шахта, сквозь которую его клиенты могут провалиться в средние века.

По его просьбе я, учитывая интересы более робких по-

сетителей «Викарки», привожу здесь недвусмысленный его протест и хочу добавить, что позднее и сам пан Броучек в результате тщательного осмотра убедился в абсолютной безопасности «Викарки» и ее ближайших окрестностей; несмотря на все это, он продолжает стоять на своем, оставляя знатокам подземного строительства судить о том, мог ли он из кабачка Вюрфеля попасть в глубокий потайной ход, ведущий под Влтавой, иным путем, нежели по какой-то шахте.

Пан Броучек сожалеет, что вход в таинственный коридор так внезапно и бесследно исчез; однако сожаление его связано исключительно с громадным кладом короля Вацлава, из коего в случае его обнаружения он свою законную долю, ему, как первооткрывателю, причитающуюся, благородно жертвует обществу чешских писателей «Май», чем вносит в писательское дело гораздо больший вклад, нежели те, кто любит произносить тирады по поводу нынешнего кризиса нашей литературы. Ничто иное не влечет его вновь, воспользовавшись вышеупомянутой шахтой, заглянуть в пятнадцатое столетие, да и читателям он не рекомендует совершать подобные экскурсии.

Несмотря на цыплят по полгроша, изобилие лососины, медовуху и некоторые другие преимущества средневековья, эпоха гуситства произвела на пана домовладельца крайне неблагоприятное впечатление – и не только в связи с отсутствием спичек и вилок, измерением времени посредством песочниц, чесалами для головы, мужскими юбками и прочи-

ми варварскими штучками, но и по причинам иного, гораздо худшего свойства.

Пан Броучек не имеет ничего против так называемого патриотизма, пока он остается в пределах разумного; ради бога, пусть себе чехи говорят между собой по-чешски, ходят в чешский театр, создают чешские общества и кружки, устраивают национальные празднества и даже собирают средства на патриотические начинания – только, конечно, не среди домовладельцев, которые в нынешние тяжелые времена не могут позволить себе лишние расходы. Впрочем, сам пан Броучек, как было уже сказано в ином месте, спустил в «Викарке» не один крейцер при помощи национального стрелка на нужды «Центральной матицы», а также два раза присутствовал на национальном празднестве, где в тиши выпил пива за пятерых хвастливых патриотов.

Но требовать, как гуситы, чтобы человек ради патриотизма или вообще ради каких-то принципов рисковал своим имуществом или даже собственной жизнью – чистейшее безумие! Любой разумный человек только одобрит действия пана Броучека, когда он перешел от пражан к таборитам, рассудив, что тем самым он улучшил свое положение (ничего себе улучшил!), и когда он выдавал себя за немца перед предполагаемыми немецкими крестоносцами, чтобы тем самым сохранить свою жизнь для народа. За подобные дела нынче грозит, как максимум, пригвождение к газетному листу, что в связи с беспрерывным взаимным предательством

наших политиков почти полностью утратило свою действительность. Если сейчас каждого поступающего таким образом помещать по гуситской методе сразу в бочку, ремесло бондарей скоро станет в Чехии одним из самых выгодных. Коротче говоря, гуситы были экстравагантные сумасброды: далекие от тихого и разумного труда на благо нации, они находили удовольствие лишь в громкой и вызывающей стрельбе из пушек и махании палицами, позволяли себе недостойные демонстрации и своей опрометчивостью компрометировали чешскую нацию в высших сферах. Народы добиваются своих целей только спокойной рассудительностью, что лучше всего доказывает пример венгров, которые своей образцовой сдержанностью достигли всего, чего только могли пожелать. Поэтому правильно поступают те среди нас, кто постоянно призывает к умеренности; ведь мы, современные чехи, как известно, слишком пылки и буйны, и, если бы мы друг друга не удерживали, бог весть чего бы мы в своей неудержимой жажде действия не натворили!

Но более всего вреда общему делу нанесли гуситы своим неразумным сопротивлением немецкому языку, что на долгие годы подорвало влияние второго официального языка Чехии, а главное, они выселили немцев, чем начисто лишили себя возможности практиковаться в разговоре по-немецки, а ведь без практики никто не может как следует изучить язык. Подумать только, где бы мы сейчас были! Сегодня каждый чех щелкал бы по-немецки так, что от языка бы от-

летало, и нашим патриотам не потребовалось бы прилагать столько усилий для поддержания и распространения немецкого языка среди чехов.

Помимо этого опыта, имеющего общенародную значимость, пан домовладелец вынес для себя из путешествия в средневековье лишь некоторые лингвистические познания.

Когда на башенном «зегаре» бьет семь часов, он входит к «Кокоту» («Викарку») он с того памятного июля как-то обходит стороной), отряхивает там в «мазгаузе» снег с «епанчи», из меню с удовольствием выбирает жареную «кокошь» или язык с польским «макалом», берет к этой пище соленую «рогульку» и при восьмой «чарке» начинает мечтать о яблочной «вармуже». Порой он глубоко задумывается, впадает в тихую меланхолию, из его груди вырываются тяжкие вздохи, иной раз и слеза блеснет во взоре – короче, он обнаруживает все признаки несчастной любви. Я полагаю, что в такие минуты его охватывает неизбывная тоска либо по старочешской медовухе, либо по пригожей Куночке, и в этом последнем случае его следует отнести к наименее счастливым влюбленным на свете, наказанным за свою закоренелую приверженность к холостяцкой жизни способом столь жестоким, что и самые великодушные читательницы не смогли бы придумать.

Наряду с этим нравственным опытом пан Броучек вынес из средневековья единственный предмет материально-

го свойства: новые подметки на своих штиблетах. Они ему тем милей, что не стоили ни гроша: срок давности для иска гуситского сапожника давным-давно истек. Правда, экономка (которую пан домовладелец смог приятно удивить подарком к именинам в виде ситцевого передничка, поскольку непонятным образом он уже 13 июля, то есть в канун годовщины битвы на Жижкове, возвратился в новые века) обратила его внимание на то, что вышеупомянутые подметки выглядят совершенно так же, как и старые, с которыми пан домовладелец накануне отправился в Градчаны, но пан Броучек с торжеством возразил, что, конечно же, изделие пятнадцатого века не может иметь новый вид и что уже само существование этих подметок свидетельствует о потрясающей добросовестности древнечешских сапожников. Прочность же их довела почти до отчаяния одного профессора, испросившего эти гуситские подметки для исследования, после того как они сносятся, дескать, кто может знать, не обнаружится ли в них какой-нибудь новый фрагмент наших рукописей, что позволило бы разом разрешить затянувшийся спор. Но подошвам все нет и нет сносу, так что нам придется неопределенно долго ожидать неременной «Защиты» вышепоименованного господина профессора.